

И863244

ВЛАДИМИР
ШИРИКОВ

Хлеб детей твоих



**ВЛАДИМИР
ШИРИКОВ**

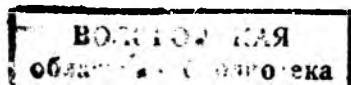
**Х Л Е Б
Д Е Т Е Й
Т В О И Х**

I 863244

**РАССКАЗЫ
ПОВЕСТЬ**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,
АРХАНГЕЛЬСК,**

1977



РЕ
Ш64

P2

ЕКР

Шриков В. Л.

Ш64 Хлеб детей твоих. Рассказы. Повесть.
Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977.

176 с. с ил.

Владимир Леонидович Шриков живет и работает в Вологде. В 1974 году в издательстве «Современник» вышел сборник его рассказов и повестей «Пятое время года».

В новую книгу вошли из этого сборника переработанная автором повесть «Хлеб детей твоих» и рассказ «Корениха», а также новые рассказы, посвященные жизни городской окраины, нравственным проблемам, стоящим перед нашими современниками.

Ш 0732—012
157(03)—77 4-12-77

P2



РАССКАЗЫ

Последнее свидание

Телеграмма была не совсем толковой: «Регистрация 14 приглашаем торжество тетей Аней тчк Строительная 6 квартира 8 Юра Лена». Николай Петрович Шумов только на третий раз понял, что речь идет о свадьбе внучки Лены с не известным ему Юрой и что его, стало быть, с Анной приглашают на эту свадьбу.

Шумов глянул на прошлогодний, не смененный во-время календарь, где под красной десяткой неровными фиолетовыми буквами было написано — понедельник, и с удовольствием подумал, что собраться можно обстоятельно, не торопясь.

В сенях заскреблась кошка, и Николай Петрович впустил ее в избу. Кошка сразу пробежала за печь и, жадно набросившись на молоко, опрокинула миску. Голубеющая струйка подтекла прямо под ноги старику. Но он, не обратив на это внимания, вернулся к календарю и принялся отыскивать пометки о своих дежурствах за прошлые месяцы и подсчитывать, сколько же у него набралось сверхурочных.

Отгулов вышло три смены — две дневные и одна в ночь. Накинуть еще два выходных — и ехать можно спокойно. Завтра в ночь он еще отдежурит и тогда, если Лямин отработает долг, следующая смена Николая Петровича придется на семнадцатое в день. Хватит и

на дорогу туда-обратно, и на гостеванье останется двое суток. Шумов еще раз пересчитал дни на пальцах — все сходилось.

Только теперь он заметил, что крепко подмочил валенки, но против обыкновения не выругал глупую животину, а, перевернув ногой миску, снова налил в нее молока.

— Пей потихоньку — не отберут.

Бросив тряпку на пол и наступив на нее, Николай Петрович старательно затер все подтеки. В это время хлопнула калитка и на крыльце раздались шаги Анны. Зябка отфыркиваясь, встряхнула платком, отбрасывая талый снег, пожаловалась, по-южному придыхая:

— Непоходь, отец. Не вовремя что-то заслякотило. Так и полощет, ну чисто с кулак хлопья валяются.

— К хлебу, поди,— отозвался Шумов.— Доставай-ка, похлебаем.

Анна ухватом вытащила из загнетка горшок, в избе сытно запахло настоявшимся за день варевом. Шумов, держа на весу цельный каравай, ловко отстругнул четыре ломтя и верхние подвинул жене:

— Ну-кось, всяко угрызешь...

Один свой кусок он искрошил в миску вместе с корками от второго, остатком поддерживал ложку, чтобы не капало. Ел медленно, соображая про свое, и, дохлебав, протянул телеграмму:

— Приглашение вот. Ленка, внучка, замуж идет: на свадьбу зовут. Подумать надо ехать с чем...

Анна прочитала и аккуратно сложила бумажный листок. Скрестила полные, совсем не старушечьи пальцы, хрустнула суставами — и тут же испуганно вскинулась: муж не терпел этого.

— Может, свинка порешим? Мяса бы свежего, колбасок взять...

— Они где — в городе или в голодной паренине живут,— хмыкнул старик.— Эка невидаль — мясо.

— Не магазинное, свое. Во рту тает. Завтра бы с утра и порешить — пора уже...

— Нет, Борька пусть поживет. В кооперативе запас кончится — как раз сдадим. Ты лучше с бабами побалабонь, нет ли на базе посуды какой. Мясо что — съели, и нет его, а тарелки-чашки — вещь, молодым в память.

— В Ольховке, бабы сказывали, будто лежат еще сервизы те, не наши, какие здесь были. По семьдесят рублей. У нас их командировочные разобрали, а там остались. Может, и дешевле почему есть?

— Дешевле — дело десятое. Ты поутру попроси кого за Борькой поглядеть — сбегаяю.

Он потер уставшие от яркой лампочки глаза, протяжно зевнул:

— А о деньгах не заботься — троим печи сложены. Отпускные целы? Непошто копить.— Шумов скинул с ног валенки и водрузил их на печь, за трубу.— Не слышала, не жалилась Лямиха на каменку — мылись вроде вчера?

— Та ничего. Всей семьей парились, и постояльцы еще, а жар, говорит, остался, хоть снова начинай...

— Ну... А то удумал по-черному сделать, как у зимогоров бывало. Тогда вон в печь залазь — все одно что мылся, что нет, арап арапом вылезешь.

И довольный Шумов похвалился:

— Голову надо иметь да руки. Это не проволоку чинить.

Обыденно, неприметно подкралась дрема, и, расправляя постель, Анна решила, задала-таки свербевающий в груди вопрос:

— Меня зовут. Кланы, поди, осердится, если соборусь?

Шумов нахмурился. Вопросы этого он ждал.

— А что Кланы? Не ее свадьба. Спросились, поди, когда приглашали. Да и забыла она давно все. Ты лучше спи, пока поясицу не заломило, а то опять всю ночь промаячишь.

Он проворно забрался в постель, скатился к стенке и с шумом, притворно зевнул. Анна еще немного повозилась с посудой, потом осторожно прилегла с краснака. Шумову не спалось, но он старался показаться спящим, чтобы избавиться от ненужных слов и обдумать все самому.

А подумать было над чем. С Кланей, Клавдией, родной матерью его единственной дочери, прожил Шумов чуть больше года. Уже минуло полвека, как они растались, и за полвека эти виделись всего дважды, мимоходом. А теперь вот надо было ехать гостить, ночевать под одной крышей с той, которую любил когда-то, так же сильно любил, как она его ненавидела. Как встретиться, что говорить?

Поутру, напившись вдоволь кипятку с печеной картошкой и круто посоленным хлебом, Николай Петрович снарядился в Ольховку, рассчитывая, что попутно завернет к Лямину и договорится о подмене.

Лямин сидел у топящейся печи и мастерил самокат для постояльца ребятенка, который, устав от множества пластмассовых паровозов и машин, сидел рядом и заколачивал гвозди в чурку.

Разговор зашел издали — про погоду и что никак не можно заполучить для служебного фонаря батареек, а на свои деньги покупать сколько же можно. Потом поговорили о бане. И когда дошло до дела, Лямин огорчился.

По его разумению, на дворе устанавливалось ненастье: слякоть и вьюга, Шумов же дежурил за него в самую здоровую и тихую пору — летом. Николай Петрович сразу понял, что сосед намекает на магарыч, но дал выговориться, чтобы тому после было приятно от своего проворства. Сговорились на после возвращения. Лямин пообещал тогда же уплатить и за сложенную каменку.

— А куда собираешься? — любопытствовал Лямин.

— Дарью проведать надо... Она Ленку замуж отдаст, так на свадьбу зовут.

— У! — воскликнул Лямин. — Гляди как годы идут. Скоро прадедами станем, а, Петрович! Зажились мы, видать, с тобой, — невесело пошутил он. — Клавдия все с ними живет?..

— У них, — ответил Шумов.

— Не любил я ее — вареная была. И чего ты за нее уцепился? Вот Петька у них молодец! Большим бы человеком стал, кабы не загинул от антантов. Помню, как мы с ним в революцию в Питере были, в запасном полку, а домой самоходом ездили. Тонули еще с санями...

Рассказ этот Шумов слушал двадцатый год и поторопился распрощаться.

После Лямина он зашел в контору, спросил, не поедет ли кто в Ольховку. Большаком дотуда было двадцать километров, просекой же вполовину. Так как оказии не было, а надеяться на случайную машину — пустое дело, Шумов бодро пошагал пешком.

Посыпал мелкий, хлесткий, как манная крупа, снег. Шумов потуже повязался башлыком, идти стало теплее. По обеим сторонам в вершинах елей с гулом перекачивался ветер, и зеленые разлапистые ветви вздра-

гивали, освобождаясь от глыбастых снежных шапок, которые ухали в сугробы, оставляя воронки как от переночевавших косачей. Но тропу, плотно ухоженную за время ростепели, еще не перемело, и шагалось легко.

* * *

Клавдия и Лямин были из одной, теперь полупустой деревни Вербино, что пятью километрами ближе к Ольховке, чем родное Шумову Коротыгино.

Знался Николай с Ляминим сызмальства, даже, по молодости случалось, несколько раз хлестались между собой после посиделок. Но Лямин был постарше, потому и прихватил кусочек войны с германцами. Шумова же призвали тремя годами позже в Красную Армию. Вместе с односельчанами привезли его на пристань за восемьдесят верст от дому, погрузили на маленький и грязный пароход, который неторопливо шлепал по воде более двух суток. Проплывая мимо темнеющих сосновых лесов, убранных, уже опустевших полей, и скошенных лугов, и раскинувшихся по берегам реки деревень, дивился тогда Шумов, впервые забравшийся в такую даль, что нет, видимо, земле ни конца, ни края.

Потом пересадили их в красные дощатые вагоны, где родным был только устоявшийся сладко-терпкий запах лошадей и навоза, и увезли еще дальше, туда, где даже ночи не было и круглые сутки не уходило солнце.

Так покатился Николай Шумов по новой жизни. Вначале панически боялся всякой стрельбы, особенно пушечной, потом обвыкся, освоил пулемет и, лихо сбив на затылок фуражку, гвоздил, бывало, очередями по пробегающим темным фигуркам. Было это на Севере, под станцией Плесецкой, в августе 1919 года.

Может, и преуспел бы Шумов в военном деле, которое вдруг приглянулось ему, да в одном из боев ухнула по пулемету английская гаубица, ударило Шумова в спину, отбросило в сторону, выбило зубы, полома-ло ребра. Тем все и кончилось. Месяцев восемь кантовался красноармеец по лазаретам, подлечился, поокреп, научился бойко заливать о своих военных походах истосковавшимся по мужской ласке солдаткам и в Коротыгино вернулся человеком, который знает себе цену...

«Да... — вздохнул потревоженный воспоминаниями Шумов.— Не случись ранения — мог бы и командиром стать, офицером...»

В Ольховку он пришел удачно: возле сельпо стояла знакомая машина, которая должна была заехать к ним на базу, она и подвезла Шумова с подарком к самому дому.

Анна уже вернулась с работы. Отпросилась пораньше, чтобы собрать мужика в дорогу.

— Езжай, отец, один. Нездоровится мне.

— Что так?

— Да голова гудит, мочи нет. Песяк вот еще на глазу вскочил...

— Оговорил, стало-быть, кто-то,— заметил Шумов, и, изловчившись, плюнул Анне в глаз. Та ойкнула и закрылась рукавом.— Попал вроде?— обрадовался Николай Петрович.— Теперь пройдет,— успокоил он жену и, тщательно вытряхнув пыль из принесенного с чердака чемодана, принялся старательно укладывать в него тарелки, блюда, перекладывая их между собой газетами и стружками, чтобы не побились, не поцарапались в дороге.— Дивись-ка, Анька, что тут есть. Одних тарелок две дюжины — шутка тебе? Это на шесть-то персон! Выходит по четыре тарелки на каждого.

— Куда столько? Половины бы хватило...

— Эх, темная,— зафасонил Шумов, хотя сам вместе с продавщицей до конца не смог разобраться что тут к чему.— Одни, мелкие, под салат, вторые под суп, третьи под котлеты или там...— задумался он,— пельмени. А на четвертые — яблоки разные, груши. Во!.. Каждый обед так положено.

— Э-э,— удивленно протянула Анна.— Так всю жизнь на одни обеды работать придется,— и высказала догадку:— Для запаса, верно, столько сделано, бьются ведь тарелки-то, или для гостей, когда много соберется.

Тщательно упакованный чемодан поставили в угол и огородили стульями, чтобы не задеть и не побить чего.

Ходики, умышленно поставленные на полчаса вперед, частя и западая, пробили восемь — пришла пора собираться на дежурство. Шумов обул снятые с печи вторые валенки, тепло и приятно охватывающие ступни, вколотил их в галоши, потом поддел овчинную душегрейку под брезентовый плащ, достал из комода непочатую пачку папирос.

— Ладно, мать, похрял я...

Уже совсем стемнело, и где-то за водокачкой тоскливо и глухо лаяла собака. Ей слегка подвывали другие, но шел частый мокрый снег, мокнуть не хотелось, и все сочувствующие, взбреднув несколько разиков, умолкали.

Вместе со сменщиком Шумов обошел базу, посчитал замки, проверил печать на дверях конторы и расписался в прошитой дратвой и опечатанной сургучом книге, что дежурство принял. Тепла в сторожке не было. Предшественник по смене наколотых дров днем принести поленился, и из зева печки торчало длинное круглое бревно, которое он и подпихивал, видно, время от времени, как прогорало на конце.

Шумов вытащил это изобретение ленивого ума, выволок на двор и топором распластал на щепу. Потом притащил три сосновых кругляша, и в скором времени огонь весело и жадно запрыгал в топке.

Собаку, что выла за водокачкой, было слышать и в сторожке — она почти охрипла, но продолжала гундосить. От лая разболелась голова, и Шумов вслух выбранился:

— Подавиться бы тебе, зараза,— и тотчас, словно убоявшись, собака замолкла.

Шумов с детства не любил ни собак, ни кошек, поэтому соседи считали его человеком бессердечным. Кошек он не любил за то, что ласкаются без разбору ко всем, кто погладит. А собак не любил оттого, что в молодости на одной из гулянок был травлен матерыми кобелями и одного из них, самого злобного, задушил, держа левой рукой за ошейник и просунув правый кулак далеко в пасть. Порвали его тогда крепко, могли бы и насмерть загрызть, не случись проездом из города односельчане. Они отбили Шумова, привезли домой, но собак он с той поры возненавидел люто.

Когда начальник базы предложил было завести для охраны сторожевого пса, Шумов отказался наотрез.

— При мне и без кобеля не тронут.

Дежурили сторожа кто с чем. Ружей не полагалось — не той категории объект, против собак протестовал и Шумов и его друг Лямин, а для бодрости духа, на всякий случай, в сторожке лежал топор. Шумов дежурил со своим оружием — с гирей от часов на сыромятном ремешке, которую для острастки супостатам всегда носил в кармане.

На улице что-то забрякало, и Шумов вышел на крыльцо. Прищурившись, чтобы скорее привыкнуть к темноте, он хлопнул дверьми и громко спросил:

— Кто там?

Возле ворот трое подвыпивших мужиков, не из местных, обхватывали друг дружку, словно боролись.

— Идите-ко, ребята, по-доброму. Нельзя здесь варзать — объект.

— А ты кто такой?— захорохорился один.— Чего встречаешь?— И двинулся с грозным видом к Шумову.

— Не подходи!— предостерег Шумов, отступая ближе к свету.— Напросишь на свою голову, сейчас милицию вызову.

— Видал я твою милицию...

При свете Шумов узнал Алешку-тракториста, приехавшего на лесопункт в погоне за большими деньгами откуда-то с юга.

— Дурак ты, Олеха, зря шумишь.

— Казак я,— выгнул грудь Алешка.— Знаешь, какие у нас на Кубани казаки?

— Дед твой, парень, был казак, отец — сын казачий, а ты как хвост собачий. Иди проспись да не бузи. На работу, поди, утром?

Алешка согласно мотнул головой, собираясь уходить. Но на сторожа грозно двинулся его попутчик.

— Олеха, уйми!— взвизгнул Шумов.

— А я его не знаю,— отозвался Алешка и, затянув песню, пошел своей дорогой. Шумов отступил на несколько шагов, чтобы в свете сторожки лучше разглядеть наступавшего.

— Давай, парень, иди по своим делам,— предупредил он.— Здесь склад, тебе тут делать нечего.

Мужик был малоросл, но упитан. Пьяная дурь кружила ему голову, и он лез напором.

— Иди домой, говорю тебе...— толкнул его в грудь Шумов.

Мужик размахнулся и неловко заехал сторожу в ухо.

— Значит, так,— Николай Петрович сгоряча выхватил из кармана гирьку и тяпнул мужика по голове.— А ну, мазурики, подходи, кому жить неохота!

Мужик ошеломленно сидел в снегу, крутил головой и не мог ничего понять.

Подоспевший товарищ кинулся было тоже на Шумова, но, увидев гирьку у него в руках, отступил и склонился над другом.

— Пойдем, Федя! Одни психи здесь...

Федя поднялся, и они удалились в темноту, громко ругаясь.

Николай Петрович обошел склады, проверил, на месте ли замки, но еще долго не мог успокоиться, вспоминая случившееся.

Сколько лет он носил с собой эту гирьку, чувствуя себя с нею увереннее, но применять ее не приходилось. И сейчас ему вдруг стало жаль той дурной головы, что попала под руку. Шумов стал оправдываться про себя, что ударил он не в замах, да еще по шапке, стало быть, «бестолковка» цела, а что поболит немного, так это наука паразиту, пусть не обижает стариков. Да, может, он и не вспомнит ничего, подумает, что с похмелья трещит.

* * *

Утром в пятницу Николай Петрович уехал рейсовым автобусом на станцию. Приехал рано, до поезда оставалось еще целых шесть часов, и все это время Шумов просидел в зале ожидания. Людей там было немного: круглолицый дремлющий железнодорожник, старуха, солдат да еще двое сезонников в синих обтертых ватниках и кирзовых сносившихся сапогах. «Никак, из заключения», — с опаской подумал Шумов и зажал на всякий случай чемодан ногами.

...После службы в армии и ранения он тоже возвращался домой поездом, добирался из Питера без малого неделю. Вернулся при деньгах — подработал портновским делом, какому обучен был с детства. Собирался похолостяковать годика два, да отец настоял на женитьбе: меньше дури в голове будет. Да и сам Николай видел, что холостая жизнь в деревне куда хуже, чем в городе — не пойдешь же с малолетками на посиделки семечки лузгать. Выбор невест был большой: немногие из друзей детства вернулись с войны. И в жены Николай наметил самую крепкую и красивую девку в округе, дочь двоюродного дяди по отцу Кланю Ситову. Он почти не знал ее до солдатчины, мала была. А тут повстречались — сенокосы рядышком.

Но после первого же вечера Кланя стала сторониться его и этим еще больше раззадорила. Вскоре Шумов посватался. Родители невесты были согласны, сама же Клавдия заупрямилась, и выдали ее почти силком. Увез муж молодую в свою деревню, зажил отдельным домом. Тут пригодились накопленные деньги, удалось справиться хозяйство.

Клавдия работала по дому — обряжалась, стряпала, стирала, шила, но в постель ложилась всегда за полночь, холодная и чужая. Сначала Шумов старался не обращать внимания — подурит и перестанет. Однако время шло, а ничего не менялось.

Пробовал побить — научила крестная — еще хуже вышло: так взглянула на него Клавдия, что ему не по себе стало. Пробовал взять лаской, привозил из города ленты, бусы, платки и другие бабьи пустяки — не помогло и это. Неведома, непонятна была ее холодность.

Знал Шумов, что первый ухажер Клавдии, Кирька Сенюшин, загинал в девятнадцатом году с продотря-

дом,— порубали их вятские мужики. Но не похоже, что по нему она убивалась. Пухла шумовская голова от разных дум и подозрений.

Ничего не изменилось и после рождения дочери Дарьи. Нелюб был он жене и не знал — почему. И как-то раз, подгулявши, он восстал, не в силах больше терпеть и унижаться. В сердцах порубил все, что попало под руку в избе, бросил к чертовой матери хозяйство и отправился зимогорить. Бродяжничал без малого десять лет: работал в Азове приемщиком на рыбозаводе, портняжил в Ростове, столярничал и был землеройщиком в Саратове, а потом вдруг подался на строительство Беломорско-Балтийского канала. К тому времени знал он из писем с родины, что отец его умер, обгорев на пожаре, в доме же Шумова, как строении бесхозном, разместили избу-читальню. Все эти новости Шумов принял без особых переживаний, пожалел только деньги, брошенные на ветер, и отправился на стройку за новыми заработками. На канале отработал он почти два года — сначала плотником, потом вышел в десятники. Люди, как на всяких больших стройках, работали разные, со всех концов страны. Чего только Шумов не рассмотрелся.

На его участке было немало бывших уркаганов, презиравших любой труд и деливших всех людей на два простых разряда: кому отведено место на нарах и кому под ними. К первому, безусловно, относили они себя, своих дружков и — с зубовным бессилием — еще тех, у кого хватало достаточно сил для независимости.

Все прочие принадлежали ко второму сорту, пригодному, по их мнению, только к черной работе.

Днем на строительстве уркаганы были почти незаметны, но как только на землю падали сумерки, наступало их время — плясали, с надрывом пели под гитару

песни о короткой воровской жизни, а потом дрались, почему-то всегда беззвучно и страшно. Почти на все пиршества приводили женщин — сколько нужно, и кто не шел сам, приводили силой...

Так однажды подошел один и к Анюте. Взял за руки, коротенько подтолкнув вперед — иди. Она затравленно взглянула на людей, стоящих рядом. Все молчали, потупившись, молчал и Шумов: не ты первая, не ты последняя. Она шагнула раз, другой и пошла... к Шумову. Блатняжки оцепенели, потом матерно выругались, пообещав посчитаться, и ушли. А Шумов повел Анюту в свой барак, где жили плотники. Плотники держались друг дружки, и уркаганы их побаивались, во всяком случае делали вид, что не замечают. В бараке Шумов отгородил простыней угол, коротко объявил — жена — и спрятал под подушку топор. Ночью спать не мог, вздрагивал от каждого шороха.

Утром пошел к уполномоченному Гренькину с просьбой перевести его куда подальше. Гренькин его вылаял за то, что Шумов накануне отпустил в санчасть сразу двоих больных, и намекнул, что бригаду Шумова он думает разогнать — развести по одному для перевоспитания, иначе много воли забрали... Тем разговор и кончился. А на обратном пути свалился на Шумова с верхних лесов кусок бетона с арматурой. Только ошиблись грошки — лишь плечо раздробило тем куском, в сознании остался. Кликнул Анну — вроде как проводить в санчасть, вышел на дорогу — и прямым ходом на родину.

Хватит, научился. С тех пор и осел насовсем в рабочем поселке лесников, в пятнадцати верстах от родного дома, от которого к возвращению хозяина не осталось ничего, кроме стен. Крышу в одну из бурь ветром сорвало, а ремонтировать было некому: избу-читаль-

ню к тому времени закрыли, открыли клуб в доме бывшего мельника. Шумовский дом остался сиротой и самому хозяину не приглянулся.

Покалеченная рука слушалась плохо. Портняжить да столярничать Шумов уже не мог и определился в сторожа — сначала в пожарную часть, а в последние годы на торговую базу...

За воспоминаниями время пролетело незаметно, вокзал уже заполнился людьми. Шумов вышел на перрон. На краю вечернего неба вдруг вспыхнул огонек, затем он разделился на два ярких, приближающихся глаза, и поезд с грохотом влетел на станцию.

Шумовский вагон был последним, и он едва успел добежать, как поезд, коротко свистнув, дернулся и покатился дальше. Мигнула светлыми окнами будка стрелочника, пошел темной стеной лес.

Время было позднее, и многие в вагоне спали. С полок свисали одеяла, кое-кто похрапывал. Спящий солдатик на второй полке не заметил, как съехал, и в проходе болтались ноги в защитных брюках и белых, домашней вязки носках.

Найдя наконец место, указанное в билете, Шумов опустил на полку. За столиком у окна сидела старушка.

— Далеко ль едешь? — приветливо поинтересовался он.

Она назвала станцию.

— В аккурат в три часа ночи приедем по расписанию. К сыну вот собралась, от дочки еду. Дедушко-то помер у меня в прошлом году, вот и езжу по гостям: то к сыну, то к дочери. По полгодика живу у каждого, да, видно, не очень любя. Надо бы куда на постоянное место приставать, — и она вздохнула, запечалившись.

— Что, болел муж-то у тебя?

— Паралич разбил... Шесть годиков лежал, измучился, да и меня всю измучил. Освободил теперь вот...

Они помолчали. Шумову хотелось спать, но места были боковые. Тревожить старушку ему не хотелось, а на верхнюю полку он знал, что не заберется. Так и задремал, прислонившись к переборке, и проснулся от шума — попутчица собиралась выходить.

— Что, приехала?

— Скоро, милой, скоро. Вон уже сараи показались, сейчас станция начнется...

— Давай помогу.

— Да не велика кладь, одежонка одна. Со своими деньжонками еду, куплю подарки-то...— она осеклась и как-то по-особому взглянула на Шумова.

Что-то в ней вдруг показалось ему знакомым.

— Видел я тебя вроде раньше?— спросил он.

— Немудрено. Поездила я со своим дедушкой, ой как поездила. Всю жизнь на перекладных: и заводы строили, и раскулачивали мы, и в лагерях работали.

— А на Беломорканале была?

— Два годика жили. Там, видно, и застудился дедушко-то.— Она заторопилась, заволновалась.— Ой, приехали вроде.

Шумов вынес в тамбур ее узелок.

— Я ведь тоже там работал. Может, знал твоего.

— Может, и знал. Гренькина многие знали...

Поезд остановился. Заспанная, сердитая проводница откинула железный лючок со ступенек, и старуха сошла. Шумов подал ей сверху узелок.

— Спасибо, мил человек, помог мне.

— Бог с тобой...

Николай Петрович отошел к противоположной двери, чтобы не мешать тем, кто заходил в вагон, и закурил. Еще раз столкнула его судьба с прошлым, но не

было в душе ни обиды, ни горечи. Видно, поздно ворошить и судить былое...

* * *

До места Шумов добрался к полудню. У дочери он бывал дважды, последний раз, когда внучка перешла в восьмой класс и он привез ей в подарок велосипед. Но жили они тогда рядом с вокзалом, теперь же дом оказался на самом краю города.

Шумов поднялся на третий этаж, поставил поклажу и не без робости позвонил. В прихожей было шумно и тесно. Рослая, вся в белом девушка, открывшая дверь, радостно обхватила его за шею.

— Дедушка приехал! — закричала она на весь дом.

От души сразу отлегло — стало быть, ждали.

Вышла Дарья, расцеловала отца, помогла раздеться. Николай Петрович протер запотевшие очки, осмотрелся.

Подошла и Кланя. Он шагнул навстречу, поклонился.

— Здравствуйте, Клавдия Антоновна!

Ответила тоже поклоном.

— Здравствуйте, Николай Петрович!

Они троекратно расцеловались. Кланю годы поберегли: осталась по-молодому стройной, и коса все еще пышная. А вот его согнуло: чуть выше плеча ей стал.

Прошли в комнату к накрытому столу. Шумов поздоровался сразу со всеми, кто тут был, и, суетясь, стал зубами распутывать узлы на веревке, обхватившей чемодан. Потом споро принялся выставлять на свободный край стола привезенный подарок. Он был действительно красив, этот сервиз с яркими, по-осенне-

му рдеющими листьями клена, щедро рассыпанными на ослепительной белизне донышек...

— Это от деда тебе,— приветливо сказал он внучке, и она, смеясь, затормошила и расцеловала его.

По-хмельному веселый, влетел в комнату зять с бутылкой шампанского в руке, приветливо раскрыл объятия тестю:

— Ба! Кого я наконец вижу!— И щедро жиманул гостя на своей мощной груди, потом облобызал и на секунду раскрыл объятия, чтобы дать старику перевести дух.

— А что один, без половины своей?

— Какая там половина,— отмахнулся Шумов,— в ней семь пудов против моих трех.

Зять расхохотался, снова стиснул старика, а отпавшая бутылка, выскользнув из рук, выпала на любовно расставленный сервиз. Что-то разлетелось вдребезги, и Шумова словно подкололи шилом под сердце: не к добру.

Жалко стало — такую красоту ни в понюшку табаку порешили, и как ни пытался он скрыть огорчение, оно было заметно на осунувшемся враз лице.

Зять на миг опешил, потом нарочито громко захохотал, обращая все в шутку, и швырнул на пол остатки разбитой тарелки, к счастью, единственной, и каблуком звонко припечатал остаток покрупнее.

— Где бьется, там и живется.

Снова в передней зазвонил звонок, снова пришли гости, и все, кто не у дел, кинулись их встречать. Шумов отошел в сторонку, оглядевшись, сунул под диван мешающий чемодан и сам присел с краешка. Жилье новое ему глянулось — чисто все, красиво, и гости понравились — простые, обходительные люди. Только по именам никого упомянуть не смог, подосадовал. В ком-

нате снова зашумели, поздравляя молодых, и Шумов, наблюдая со стороны, порадовался, что внучка, пожалуй, покрасивее, чем Клавдия в ее годы. Понятно, не та доля — работой не изломана, ест-спит досыта. Дай бог счастья...

Вошли подполковник с супругой. Шумов встал, чтобы поздороваться, не без удовольствия глянул на погоны — военных, тем более в чинах, он уважал — и постарался быть поближе. Невольно завязался разговор. Подполковник поинтересовался, служил ли Шумов, и, услышав в ответ: пулеметчиком в армии Петина — спросил:

— Чай, забылась уж вся солдатская наука?

Четко, точно барабанная дробь, раздалось:

— Закрепленная материальная часть — пулемет. Имеет в комплекте: пулеметный ствол. Оба конца у него утолщенные. Передний утолщен для увеличения площади отдачи, на заднем конце круговая гайка с четырьмя цапфами для соединения рамы со стволом. Бронзовое кольцо для смягчения удара, вырез для наматывания сальников. Имеется поперечное окно для приема ленты, продольное окно для взятия патронов... — Шумов перевел дух и, заметив, что все с вниманием его слушают, забарабанил дальше: — Номер первый — наводчик, номер второй — помощник, номер третий — для подноски патронов, четвертый — для вливания воды в кожух. Два запасных для всякой необходимости.

Дружные аплодисменты раздались в ответ. Шумов в момент сделался общим любимцем, а подполковник только мотал от удивления головой:

— Да... Наука усвоена безупречно...

В ожидании, когда пригласят к столу, гости сгрудились вокруг Шумова. Старичку такое внимание польстило, он торовато приосанился:

— Эх, понешнюю бы жизнь. Да на мои молодые годы,— и важно разгладил давно не существующие усы.— Нет, что ни говори, а теперешнее время с прежним и сравнить нельзя. Вот смотрю на молодежь— у меня напротив дому интернат, там многого можно наглядеться. Раньше бы таким кобылам выгуливаться не дали— в работу б живо уpekли. А тут наедятся до отвалу, тискаются вечерами... У меня батог припасен. Только за поленицей зашабаршатся— я с батогом туда: об ученье, говорю, думать надо, а не о гулянке...

Все весело рассмеялись, хотя и не поняли, почему вдруг деда повело ругать молодежь. А Шумов, следуя каким-то своим мыслям, продолжал:

— Ведь и старые-то, глядя на молодых, баловаться начали. По весне моя благоверная закудаhtала было: на курорт надо, в санаторию— лечить что-то приспичило. А я ей возьми да и пропой:

В санатории была,
На кило прибавилась,
А когда домой вернулась,
На аборт отправилась.

Парни встретили частушку хохотом, а девушки потупились. Внучка с укоризной замахала на деда руками.

— Ну, дедушка, что ты...

— Не так что-нибудь?— смутился Шумов.— Извиняйте тогда,— и со смешком добавил:— Дедушко, он такой, всякого наговорит, только слушай...

Клавдия, наблюдая за ним со стороны, видела того же баламута и краснобая, что и полвека назад, только очень постаревшего.

Гостей пригласили к столу. Все стали рассаживаться, неволью нарушая задуманный хозяевами порядок. Потом пошли тосты: поздравляли молодых и их родителей. То с одного то с другого конца стола кричали:

«Горько!» А в промежутках между тостами шутили, пели, собирались даже плясать, только место не позволило.

О Шумове, понятное дело, позабыли, и это его обидело. Он старался припомнить что-нибудь такое, что бы могло снова привлечь к нему внимание. Но в голову, как назло, лезла всякая чепуха: вспомнилось, как соседка убегала из лесу от медведя, оказавшегося ее собственным мужем, или как в молодости они с дружкой натерли красным стручковым перцем лавки в бане, где мылась вся деревня, и всякая другая разность, никак не подходившая к торжеству застолья.

В досаде он подумал, что следовало ему сесть вместе с Кланей: поговорили бы меж собой, повспоминали прошлое... Украдкой взглянул в ее сторону — она сидела прямая, властная, уверенная. Шумов прежде всегда робел перед этой ее уверенностью.

А гости пили, ели, пели... Один из гостей зацепился рукавом о выехавший из дверцы встроенного шкафа гвоздь и разорвал пиджак. Ему наперебой высказывали участие, хозяева огорчились. Тогда Шумов попросил дочь подобрать ему в тон пиджака нитки и за какие-нибудь четверть часа так мастерски залатал прореху, что те, кто не знал, в каком месте порвано, шва найти не могли.

Веселье продолжалось до полуночи. После того как молодые распрощались и ушли, Дарья отвела отца к соседям, где ему приготовили постель на диване.

Утром Шумов проснулся, как привык, рано, хозяева еще спали. Чтобы не тревожить их понапрасну, Николай Петрович лежал с открытыми глазами и представлял, как сложилась бы его жизнь, не задури тогда Клавдия. С легкой завистью думал он о беспечной городской жизни, которой чужды заботы о поросенке, дровах, ого-

роде. Работать можно было бы портным. При электричестве и глаза бы сбереглись — не слепая коптилка. Дети бы были, сыновья. А то... Он без злобы, но с упреком обратился мысленно к Анюте: «Пестерь-пестерем, понести не смогла...»

Начали просыпаться соседи. Шумов проворно вскочил, быстро оделся, отказался от предложенного чая и поднялся этажом выше — к своим. Там кипела работа: домывалась посуда, перестилались наново столы. Клавдия затирала насухо пол — готовились ко второму дню торжества. Все были при деле. Николай Петрович тоже нашел себе занятие — достал брусок, зачем-то прихваченный с собой, и принялся точить все ножи подряд.

Дочь притащила за рукав мужа, который, похоже, так и не ложился, ткнула его носом в стариковское рукоделье:

— Хоть мужским духом опахнуло, а то ведь на ножиках сидеть можно было...

Зять против ожидания ничуть не обиделся, лишь почесал лениво за ухом. Шумов подумал: «Верна дедовская примета — характер у дочери впрямь отцовский, решительный. Впрочем, — подумал, — может, он у всех нынешних баб такой».

Ножи в самом деле были тупы до безобразия, повозиться с ними пришлось долгонько.

Чаевничали в кухне — гости еще не приходили. Не спеша прихлебывая кипяток, — заварку Николай Петрович не признавал, вредит глазам — разговаривал о том о сем с Клавдией.

— Что ж на родину никак не соберешься? Проведала бы...

— Без толку — проведывать-то нечего. Сказывают, два дома и осталось, да и в тех не живут.

— Брось ты. В бане такое не скажи — шайками за-

кидают. Пять дворов стоит, во всех живут... Старухи, правда, одни...

Он стал припоминать, загибая по пальцам, кто еще остался в когда-то пятидесятидворовом Вербине, и Клавдия торопливо подсказывала ему, вспоминая своих сверстниц. Многих, ох многих унесло время, а помнится свежо, ясно, словно и нет безвозвратно прожитых лет. Нет, есть, были... Только все эти годы в родных местах люди гибли, умирали, уезжали... Оно и понятно, сама чуть не полвека как оттуда, а значит, приезжали и рождались без нее уже незнакомые, чужие...

Сидели, толковали, переговаривались Николай и Клавдия, как старые добрые соседи... Многое припомнилось, много ожило в душе. Не трогали только совместную жизнь — отболело, выгорело, забылось...

Поднялись молодые, включили телевизор, вытащили его на середину комнаты, распахнули дверь, чтобы с кухни видать.

Разговор оборвался. Шумов внимательно прислушивался к технике, потом отмахнулся:

— Слов много, смыслу мало... — И, дождавшись паузы, рассказал приключившуюся однажды с ним историю.

— Пошел раз в пекарню — дрожжей одолжить. Дворами пошел — ближе. А Мигуновы кобеля завели — здорового. Поросятка легче выкормить, чем его. В гости уехали, так за сторожа оставили. И кобель этот на меня — ну из кожи лезет, а сам на цепи, с руку толщиной, прикован. Ну, думаю, пустобрех! Мимо ведь иду — чего надрываешься. Он — пуще. Озлился я тогда, встал на четвереньки — да на его лаять. Он на меня, я на него. Кобель рвался-рвался, блажил-блажил — голос сорвал. Натянул цепь, лег на бок и сипит. Вот ведь

как,— довольно закончил Шумов.— Кобеля перелаял. **А** этот ящик,— он кивнул на телевизор,— не переговоришь, нет.

Пришла освободившаяся от хлопот дочь, подседа к столу.

— Ты уж извини, папа, что у соседей устроили. Сегодня долго не задержимся, у нас и ляжешь.

— Нет, зачем. Я сегодня поеду...

— Куда ты? Погости хоть немножко...

— Нет, хватит, погостевал. Спасибо за все. Живете справно, хоть сердце успокоилось. К нам милости прошу. Летом лучше любого санатория.

— Погости, дедушка,— повисла на плече внучка.— Я ведь тебя всего третий раз в жизни вижу...

— Меньше видишь — больше любишь,— отшутился Шумов.— Приезжайте в отпуск-то ко мне, вот и насмотришься...— Он покопался в карманах, достал бумажку, не совсем слушающимися пальцами развернул и протянул внучке.— Ну-ко, прочитай, что там написано?

— Четырнадцать тридцать.

— Вот. Это поезд уходит. У меня билет уже взят,— похвастался он, вытаскивая из нагрудного кармана картонку.— Через полтора часа собираться начну... Хозяйство ведь дома осталось, а с курицы какой спрос?— И снова он умолк, спохватившись, что зря так во второй раз отозвался о жене.

— Ты еще на прежнем месте работаешь?— спросил он зятя, чтобы о чем-то говорить.

— На прежнем,— отозвался зять.

— Вот и хорошо...

По телевизору начался какой-то фильм, все потянулись в комнату. Они остались с Клавдией вдвоем. Давняя память легла и ей отметинами — совсем поседела.

— Да,— вздохнул про себя Шумов,— не с той, видно, руки рубил я дерево, да теперь не поправишь,— и промолчал.

Заговорила Клавдия.

— Хорошо с Анютой-то живете?

— Живем.

— Ну и добро.

Снова помолчали, думая каждый о своем, и удивительно маленькой вдруг показалась эта жизнь — в одно утро воспоминаний вместились...

Незаметно подошла пора прощаться. Гости уже собрались снова — вполовину вчерашнего, жалели, что Шумов уезжает так рано и желали на дорогу всяческих благ. А он поглядывал украдкой на стол, где вкупе с другими виднелось несколько бутылок с яркими, не нашенскими наклейками и думал: вот хорошо бы прихватить одну такую, удивить, порадовать Лямина. Но попросить не решился — постеснялся.

Оделся зять — проводить до вокзала. Шумов распрощался со всеми, к последней подошел к Клавдии.

— Ну, Кланя, прощай. Прости, коли не так было в жизни, не держи сердца...

— Не держу, Петрович. Прости и меня. Больше здесь, поди, не свидеться...

— Не свидеться, мать, не свидеться... Ну, а там, коли бог приведет, уж не разойдемся...

— Не разойдемся, Петрович...

Они посмотрели друг другу в глаза — спокойные, сухие, ясные, не сговариваясь, обнялись, трижды поцеловались и расстались — навеки.

В раскрытые окна ворвалась удалая музыка, и Августа Михайловна поспешила на крыльцо.

Пароход медленно катился за остров, белым пятном скользя по зажелтевшей роще. А первые приехавшие на нем уже входили в село.

Августа Михайловна окинула взглядом идущих, потом еще раз внимательно оглядела каждого и вздохнула: сын опять не приехал. Сулился с весны, несколько раз назначал точные сроки, а потом приходили телеграммы, что задержался. На прошлой неделе она получила письмо, где Михаил непременно обещал приехать в субботу к открытию охоты и просил приготовить одежду ему и товарищу.

Но пятые сутки тешатся по топам и болотам охотники, спалив под руку несколько стогов на лесных опушках и выбрав попутно в местном магазине все мало-мальски подходящее для еды и питья. А ни сына, ни телеграммы от него до сих пор нет.

«Не случилось ли чего?..»—Августа Михайловна плотнее притворила дверь в избу и огородами пошла к школе. Захотелось за работой отвлечься от дум, еще раз промыть полы перед первым сентября.

Она принесла воды, добавила для блеска нашатыря, резко шибанувшего в нос, потом окунула тряпку, размашисто прошлась по вишневым, с глянцевым отливом половицам. Быстро подтерла в одном классе, вода лишь чуточку замутилась, потом в другом и, выплеснув посеревшую, с белыми пузырьками пены воду в угол сада, пошла к колодцу за свежей.

В стороне что-то хлопнуло, вроде калитка. «Тоже, видно, дома не сидится,—подумала Августа Михайловна про учительницу, — проведать идет».

Но голоса послышались мужские, и сразу захолонуло сердце.

Августа Михайловна заторопилась навстречу идущим, растерянно вытирая руки. Сын близоруко щурился и что-то объяснял своему попутчику, сухонькому старичку в белом костюме, соломенной шляпе и с удочками.

— Эва,— попеняла на ходу Августа Михайловна,— пароход почти час как ушел, а вы только являетесь...

— Мы в Сухой речке сошли, просекой добирались. Здравствуй, мама,— Михаил неуклюже ткнулся бородатым лицом в щеку матери. — Знакомься — мой, так сказать, воспитатель и наставник Федор Андреевич.

Старичок, поклонившись, ловко поцеловал руку Августе Михайловне, чем немало смутил ее.

Пропустив вперед гостя, выговорила сыну:

— Больно у тебя, Михаил, суббота долга, до среды протянулась. Пироги все усохли, срам один.

— Мелочи, мама. Магазин под боком, не пропадем...

— Проворен, проворен,— неодобрительно заметила мать.

Гость Августе Михайловне понравился. Успела приглядеться, пока наставляла самовар и собирала на стол. Федор Андреевич ходил по избе и непрерывно восторгался то видом из окошка (а и в самом деле красиво: дом над обрывом, видно далеко-далеко), то домашними половиками-пеструшками, в третий раз за лето в ожидании приезда сына выстиранными и прокатанными, то запахом сохнувших над печкой грибов. Видно было, что человек он добрый и бесхитростный,— не в лесть, а как-то по-детски получались его похвалы.

За чаем он подробно расспросил Августу Михайловну про ее житье-бытье, поинтересовался, не скучно ли жить одной, как она управляется с хозяйством, каков

ныне урожай. Августе Михайловне это понравилось. Отвечала она обстоятельно, неторопливо, что скучать ей не приходится: на руках, кроме работы техничкой в школе, еще пятнадцать соток огорода — вскопай да посади, а еще и прополоть, и окучить надо, да и поливать не лениться. Порой до двадцати раз на день приходится по воду ходить. В колодце воды часто не хватает, так с реки приходится таскать, все жилы ведрами вытянет. А урожай нынче плох — все лето ни капли дождя не было.

Потом гость с сыном заспорили о своем, как видно, недоговоренном. Августа Михайловна с интересом слушала, хотя и не совсем понимала их разговор. Но ей было приятно видеть, что Михаил совсем вырос, стал ученым и с людьми знается умными. Может, теперь он и женится, как сулился. Ей не терпелось спросить сына о женитьбе, но удержалась: вдруг что-нибудь скажет не так.

Улучив момент, она лишь спросила про баню — когда топить. Тут только сын и гость спохватились, что спозаранок им на охоту и следует выспаться. А кукушка на часах уже десять раз прокричала.

Но и на сеновале, где приехавшие устроились на сон, они продолжали спорить. И до Августы Михайловны, которая принялась ставить тесто, доносились их голоса.

Когда она прибралась в избе и собралась укладываться, под окнами кто-то завозился.

— Тетя Густя! Тетя Густя! — раздался мальчишеский голос, похоже Олешки Стрезикозова.

Августа Михайловна отогнула занавеску, взгляделась: точно — он.

— Проходи в избу, — замахала рукой.

Но мальчонка исчез, успев лишь сказать:

— Приходи скорей! Батя дерется.

Быстро обув сапоги, телогрейку Августа Михайловна натянула уже на бегу. Не успела калитку притворить — с сеновала спустились встревоженные сын и гость и — следом за ней, не вышло бы чего.

Уже давно загустели тихие, безлунные сумерки, облака на западе завесили зарю, и была совсем ночь. Село спало. Только через дорогу в желтых проемах окон металась тень и слышался шум.

Хлопнула дверь. Августа Михайловна скрылась за ней.

— Ленька! Ты что, мазурик, перед чужими людьми село позоришь? Уймись сейчас же! — раздался ее властный голос.

Мужской голос огрызнулся:

— Иди к себе, тетка Густя. Не твое здесь дело...

— Я тебе покажу — не мое, батог вот только возьму. Ступай-ка в горницу, разберемся, кто виноват.

Снова стукнула дверь, голоса стихли, Михаил тронул спутника за рукав.

— Пойдемте! Разногласия мирно уладятся...

В доме Федор Андреевич скинул промокшие от росы тапочки и, вняв совету, забрался на печь.

— Быстро твоя мать его уgomонила.

— Она такая... За судью и за прокурора тут. Тридцать лет в школе, всех с пеленок знает. Напроказит кто — ее первая рука по виновнику. Бывает, и шлепнет, и крапивою пригрозит. Никто не жалуется... А пожалуется — так дома добавят. Сами родители наказывают, чтобы тетка Густя их чадам воли особой не давала.

Михаилу было приятно, что Федор Андреевич похвалил мать. Ему хотелось еще поговорить о ней, но в сених забрякало: вернулась Августа Михайловна, сердитая.

— Ох, шельма, ох, пролаза...

— Кого, мать, ругаешь?— подал голос Михаил.

— Да Варьку с Верховья. Приехали весной сюда, принес черт. Садит мужика на беса, наговаривает ему на жену. Пока не остыло, схожу завтра утром приструню... Пусть еще потреплет языком — найдут управу.

— А мужик вас сразу послушал, утих,— подал голос с печи Федор Андреевич.

— Попробовал бы послушаться! Я за ним, сопленочками, сколько штанов перестирала. Он ведь тоже с Верховья. А школа наша на всю округу одна. Из-за бору даже ходили сюда, километров пятнадцать добрых будет. Как запуржит или дожди зарядят — где же ребенку дойти. У меня и жили. Случалось, по двадцать пять человек укладывала: солому от стенки до стенки постелю — всем места хватает. Пару ведер картошки сварю, чайю ведро — вот и повеселели. Всех изучила, кто на что способен.

Августа Михайловна разулась, босиком прошлепала к печке ставить сапоги.

— Вот и добро, что в избу перебрались. Назябнетесь на сеновале...

Августа Михайловна посокрушалась еще вслух насчет беспутной Варьки, что заводит смуту и баламутит семью, потом прошла за перегородку, пошептала что-то и шелкнула выключателем. Все затихло.

Проснулись охотники от нестерпимо яркого солнечного света. Где-то рядом лениво прокричал петух, и тотчас приглушенно зарокотал мотор. Хозяйка уже истопила печь и стояла в нерешительности: то ли будить гостей, то ли дать им еще понежиться.

Сытно пахло свежим хлебом. И, как ни торопились Михаил и Федор Андреевич отправиться на охоту, Ав-

густа Михайловна настояла, чтобы они поели горячего пирога с густым, настоявшимся в холоде молоком.

Солнечный диск багровел над частоколом елочных верхушек, когда вышли за околицу. Ночью натянуло тучи, и солнышко то часто высвечивало в небольших омутках, то пряталось, заставляя охотников содрогаться от холода.

Шли они берегом к бору в надежде, что по дороге попадется дупель или бекас. Шли молча по кочковатой чахлой болотине, о которой любой уважающий себя охотник сказал бы, что бродить здесь на пятые сутки после открытия охоты да еще без собаки — забава пустая. Но попытка не в убыток.

Уже подходили к бору, когда из-за кочки с пронзительным верещанием вырвался бекас и потянул к реке. Михаил вскинул ружье. Прямо из-под руки дернулся, ухая крыльями, дупель, замельтешил низом — в кусты. Михаил повел ружьем, бабахнул дуплетом вслед. Кислая пороховая гарь остро шибанула в нос.

— Есть! — завопил Федор Андреевич, со всех ног бросаясь к кустам.

Выстрелить он запоздал и теперь энергично осматривал кочки, отыскивая добычу. Выстрелы, судя по всему, оказались в белый свет, но с них-то и началась та самая охота, на которой забывается все на свете, кроме того, что вот-вот рванется перед тобой длинноклювая птичка, и надо сразить ее влёт, и пережить секунды великого восторга и гордости — попал-таки! — чтобы потом, позже, равнодушно и устало сказать себе: «Ну, убил. А зачем?»

Возбужденные и веселые охотники вышли к бору. Солнышко выкатилось в широкую небесную проталину, грело щедро и ласково. Через взгорок промелькнула пара птиц с вытянутыми шеями и исчезла за лесом.

— Утки, — выдохнул Федор Андреевич.

Михаил пожал плечами — опоздал, просмотрел. Где-то в лесу словно завздорили собаки. Михаил прислушался.

— Тетерева!..

Федор Андреевич замер как зачарованный. Теперь уже где-то совсем рядом забормотал, зачуфыркал тетерев, и Михаил тоже остановился метрах в ста от спутника. Намстанный взгляд его сразу заметил косача на верхушке березы, возле которой стоял Федор Андреевич.

Пригибаясь за кусты, Михаил начал осторожно продвигаться вперед, делая отчаянные знаки, чтобы Федор Андреевич не спугнул добычу. Тот сначала не понял, но потом догадался и вскинул было ружье, выцеливая птицу, но стрелять раздумал. Вспугнутый тетерев снялся с места и улетел.

Они еще долго бродили по полям и перелескам, еще долго, изредка поднимая на крыло уже разбитые, по две-три птицы, и потому очень осторожные выводки, но на выстрел ничего не попадалось. Домой вернулись усталые, но просветленные, словно излеченные покоем и тишиной. Благодать разливалась по душе, было радостно за все на свете, в том числе и за того недавнего косача-дурака.

После обеда до самозабвения парились в бане, изредка выбегая освежиться в речной, уже настывшей воде. И вечером уснули крепким сном утомившихся, но довольных людей.

А матери было не до сна. Она радовалась приезду сына. Он был единственной отрадой в ее вдовьей судьбе. Из-за него она и замуж больше не пошла, а могла бы — трижды сватались. Боялась — вдруг сын осудит, когда подрастет.

Теперь все хорошо. Сын вырос, никто плохого слова о нем не скажет. Много местных ребят по городам живет, а лучше Михаила нет — все говорят. Когда однажды про него в газете написали, статью всем селом читали, до дыр затерли.

Долго еще перебирала в памяти Августа Михайловна жизнь сына и заснула, довольная и счастливая. И сон ей снился тоже счастливый: будто бы гуляет все село на Мишиной свадьбе, и хорошо так всем — слов нет.

Поутру Михаил снова ушел на охоту. А Федор Андреевич предпочел посидеть на берегу с удочкой. Вечером накануне прошел дождь, но в полях было сухо — ни лужицы. На ершистой стерне темнели скирды соломы, шалашиками стояли бабки льняных снопов. Дорога, разбитая тракторами, серела беспорядочно потрескавшимися буграми, даже не поволглými от вчерашнего дождя.

Михаил снял куртку, оставшись в клетчатой красной ковбойке. Перевесил ружье стволом вниз, чтобы не мешало в лесу, и зашагал напрямиком.

На отросшей густо-зеленой траве лениво бродило стадо. Пастух сидел в стороне, спрятавшись в тень, и выстрегивал что-то из лесины. Михаил с опаской покосился на коров. Вспомнил, как когда-то в детстве подбросил его рогами колхозный бык, и на всякий случай накинул куртку поверх раздражающей ковбойки.

В лесу было прохладно. Где-то в стороне аукались старушки, пришедшие, видно, по грибы, но вскоре не стало слышно и их. Лишь бойко стрекотали сороки.

Ягоды в основном уже отошли. Только изредка мелькали большие, закисшие бусинки черники, усохлые, почти окаменелые малинки, да во влажных болотных

бочажках на высоких кустах готовыми вот-вот оборваться каплями висела голубика. Одна клюква была в силе — пурпурной россыпью горела поверх белого, выгоревшего за лето мха.

В великом множестве попадались сыроежки — фиолетовые, красные, желтые. И тут же, словно радуясь своей жизненной силе, лентами вились семейства поганок.

Михаил шел давшишней, но еще хорошо заметной тропой, предаваясь размышлениям. Приятно было сознавать, что в неполные двадцать семь лет он уже кандидат наук, полон бодрости, сил и надежд... Будущее виделось ему ясным и безоблачным: через год уйдет на пенсию старик профессор, оставив ему в наследство кафедру, к тому времени как раз появится в печати его собственное капитальное исследование о зодчих, и все будет хорошо.

Прямо под ноги попались три белых гриба, коренастые крепыши в темных, точно просмоленных, шляпках. Михаил нагнулся, но тут же отскочил в испуге: большая, крупнее ружейного ствола, гадюка с шипеньем ускользнула в сторону.

Хотя Михаил и понимал, что в болотных сапогах змей опасаться нечего, чувство омерзения не проходило.

Лес сразу показался ему мрачным и неприветливым. Где-то невдалеке треснула валежина, Михаил вздрогнул и снял с плеча ружье...

Еще совсем недавно этот же лес был вроде как домом, здесь проходило у мальчишек все свободное время. Попадающихся гадюк они запросто откидывали с дороги палками. Спокойно ночевали у костра в какой-нибудь мрачной труппе. Случалось даже, притаскивали домой в корзинке выводок волчат и, чувствуя, что

волчица сопровождает детенышей, только колотили перочинным ножом — единственным своим оружием — о пряжку солдатского ремня, наполняя лес лязганьем, которого не переносят звери.

Теперь было не то. Лес, непонятный и враждебный, пугал, и Михаил задумался, не повернуть ли обратно. Но он решил дойти до проселка, возвращаться которым гораздо приятнее, чем снова брести через болото.

Опять где-то рядом треснула валежина, заставив его вздрогнуть. «Не медведь ли?» — мелькнуло в голове. На всякий случай Михаил зарядил правый ствол пулей.

Впереди посветлело. Сосенки пошли крепче, выше, и вода уже не хлюпала под ногами.

Открылось озеро, продолговатое, чистое, в песчаных высоких берегах. Здесь обычно отдыхали колхозники, когда ездили на дальние покосы. А на мысу под огромной развесистой сосной они ставили шалаш. Но сосны уже не было. Сваленная не то топором, не то молнией, она лежала, уронив вершину в воду, и без нее озеро словно осиротело.

Захотелось пить. Михаил присмотрел камень поудобнее, чтобы припасть нападкой и напиться, снял ружье и уже хотел положить его. Но его наметанный глаз различил в прозрачной, не замутненной ни торфом, ни илом воде, до дна пронизанной солнцем, крупную щуку, которая замерла около молоденьких тростинок.

«Килограммов на семь будет», — прикинул про себя Михаил, бесшумно взводя курок и целя чуть вбок, чтобы надежно угодить рыбе в голову. Но щука, словно почувствовав опасность, метнулась вперед. Ствол ружья качнулся вслед за ней, и ударил выстрел. Отдача стукнула в плечо. Громыкнуло и заперекатывалось эхо, и вместе с ним раздался какой-то непонятный короткий звук — не то вскрик, не то стон.

Сжалось и заныло, почувствовав недоброе, сердце, глаза метнулись по неровному откосу берега и с ужасом остановились, наткнувшись на темную фигуру, неловко застывшую рядом с упавшей сосной.

«Попал... Скрикошетило в кого-то...» — ударила в голову мысль. С ружьем наперевес Михаил стремглав бросился по берегу. Зацепившись за орешину, чуть не упал, но, закинув ружье за спину, обдирая руки, продолжал продираться сквозь заросли шиповника и вдруг остановился.

Человек лежал на распахнувшемся сером плаще, согнув ноги в сапогах-броднях и закинув голову так, как не могут лежать живые. Неподалеку на песке, густо усыпанном хвоей, валялась форменная фуражка с зеленым околышем лесничего. И внутри у Михаила что-то оборвалось.

Он закрыл глаза, качнулся и стремглав бросился прочь. Михаил плохо понимал, куда бежит, зачем, но бежал изо всех сил, словно торопился убежать от самого себя.

«Убил... Дубина, сволочь... Смотреть же надо... Все, теперь посадят... Ну зачем, зачем?.. — нутались в голове мысли. Он даже застонал на бегу, зажав виски руками. — А может, не я? Может, кто раньше?.. Охота... К озеру многие ходят... — Остановился он, чтобы отдышаться. — Конечно, не я... Иначе бы этот человек видел меня, окликнул бы... — ухватился он за спасительное предположение. — А вскрик? Может, эхо?.. Холодный пот заливал глаза. — Нет, конечно, я. И следы мои. Кончена жизнь... Как нелепо, дико... Пропади она пропадом, охота! — сорвал он ружье из-за спины и с остервенением ударил по стволу березы так, что треснула ложа. — Черт понес этого дурака на озеро! — не замечая, что говорит вслух, Михаил шел, размахивая, как

палкой, исковерканным ружьем. Мысли суматошно теснились в воспаленном мозгу.— Взять и сейчас уехать... Главное, следов не оставить... Ружье утопить, сапоги тоже выбросить — на тропе наверняка отпечатки есть... А как уехать? Того идиота принесло на неделю...— со злостью вспомнил он о своем спутнике.— Что-то надо придумать. Невеста заболела, телеграмму дала... Бред собачий. Есть! Утюг... Нет, газ оставил невыключенным. Уедем — и концы в воду. Пока ищут, пока узнают, кто на охоту приезжал... А спросят, скажу — не был на озере, дошел до буртов и обратно...— Отчаяние перешло в робкую надежду. На какое-то мгновение он даже испытал чувство облегчения, словно все уже обошлось. Но тут же обругал себя:— Слюнтяй, подонок... Нет, лучше сразу пойти, сознаться. Явишься с повинной — дадут меньше. Можно сказать, что стрелял в тетерева и промазал...»

Лес поредел. Срезав болотом угол, Михаил вышел на опушку и задами прошел к дому.

Федор Андреевич колдовал во дворе возле летней плиты, варя уху по особому рецепту, которым хвалился еще на пароходе, и балагурил с Августой Михайловной. При виде растерзанного Михаила оба словно окаменели. Мать бросилась навстречу сыну.

— Что с тобой?

Он слабо улыбнулся.

— Пустяки. Вспомнил — из дому когда уезжал, газ забыл выключить...

Федор Андреевич встревожился.

— Телеграмму надо, немедленно телеграмму... Я ведь только-только на почте был. Сейчас сбегая снова, пошлю. Там Квелкин наш живет, откроет квартиру и выключит. Сейчас я...— и, шлепая незастегнутыми сандалиями, он исчез за воротами.

Михаил обессиленно опустился на скамейку и, уронив голову на стол, застонал.

Мать положила руку ему на голову.

— Не убивайся. Может, обойдется... Умойся сходи, вишь, ободрался, перемазался весь в крови...

— В крови?.. Где в крови?— вскинулся и заозирался Михаил.

Мать испуганно отшатнулась.

— Что с тобой?.. Лица ведь нет... Ну говори же!!!
Стрелил кого?

Михаил снова сел за стол, закрыл голову руками.

— У Лешакова... возле сосны... в лесника нечаянно...

— Насмерть?— Мать, не чувствуя ног, начала оседать на землю.

— Не знаю... Наверно, да...— Михаил приподнял голову, медленно раскачиваясь из стороны в сторону.

— Вдруг живой, господи!

Августа Михайловна засуетилась, побежала в дом, где прихватила из комода что-то белое, накинула фуфайку и заспешила к лесу, почти побежала. Михаил, пересилив себя, пошел следом.

Мать торопилась: то припускала бегом, то, задыхнувшись, шла редким, но размашистым шагом, тяжело топая кирзьяками, постоянно подгоняя себя. Михаил едва поспевал за нею.

Уже на половине пути Августе Михайловне вдруг пришла мысль: «Не лучше было бы попросить лошадь?» — но она тут же вспомнила: лет десять на Лешаково уже не ездят, дорога наверняка заросла...

Лесник в округе был один — Тимоша Окунек, человек добродушный и безалаберный, частенько веселый от угощения, за которое выписывал он желающим не только дрова, но и приличный лес. Сам же и помогал рубить, чувствуя в каждом угощавшем вроде как род-

стенника. За это над ним посмеивались, но не зло: праву он был покладистого, не обидчивый.

Августе Михайловне он виделся то с гармошкой в руках, то идущим с реки со связкой рыбы на кукане, за пристрастие к которой и получил свое прозвище. Но она никак не могла представить Окунька мертвым.

Временами она вспоминала о сыне и тогда до боли закусывала губу, проклиная вчерашнюю гордыню, словно в наказание за которую и пришло несчастье.

«Как жить теперь? Как смотреть людям в глаза?»

Конец дороги Августа Михайловна вновь бежала. С размаху упала она на колени возле Окунька, перевернула его на спину, раскинув полы плаща, и долго-долго не могла унять дыхания, послушать, бьется ли сердце...

Сердце Окунька, хотя и слабо, но билось. Вздохнув, Августа Михайловна размашисто перекрестилась и первый раз подумала о сыне — нехорошо, с попреком.

Михаил стоял рядом. Испуг прошел, и он кривенько растерянно улыбался.

Рана была выше уха. Пуля, видимо, прошла дальше, скользнув по кости. Августа Михайловна стерла кровь с виска и перебинтовала голову прихваченной с собой простыней. И только тогда окликнула сына, чтобы он помог уложить раненого на плащ вроде как на носилки.

Так они и понесли его. Плащ был брезентовый, крепкий, но для рук неловкий: то и дело вырывался, и пальцы немели... Окунек был легок, но нести его с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее.

Августа Михайловна шла спереди, боясь оступиться, и, когда становилось совсем невмочь, оборачивалась к сыну, и они молча недолго отдыхали. Теперь ее заботили две мысли: что делать дальше, раз медичка как

на грех уехала сдавать экзамены, и что будет, если она вдруг упадет сама, не добредет до села. Подоспевший пастух Боря взял у нее один конец плаща, и к селу они подходили уже втроем.

Навстречу бежали люди и становились на обе стороны тропинки, молча заглядывали в лицо Окуньку — живой ли, а потом смотрели на мать и сына. Кто-то сменил Михаила, кто-то взял конец плаща у пастуха Бори, но Августа Михайловна своего места никому не уступила. Она шла, смотря куда-то поверх голов и, казалось, не узнавала односельчан, не замечала их взглядов — то сострадательных и жалостливых, то осуждающих.

Только когда соскочил с трактора и подбежал узнать, в чем дело, Стрезикозов, негромко сказала ему:

— Леня, принеси мотор в лодку. Надо Тимошку в больницу...

Окунька осторожно снесли под обрыв, положили на дно лодки, подстелив под голову чью-то фуфайку. Мать села в изголовье. Леонид торопливо дернул пускач, мотор взревел, и лодка, мягко стелясь над водой, полетела к такой далекой и такой нужной сейчас больнице.

Августа Михайловна сидела спиной к ветру, смотрела в лицо Окунька и что-то шептала про себя, словно молила кого-то о милости.

Моли, мать, моли...

У рябин, вдоль проселка...

Ночь была тревожной. Старик заснул только под утро, забывшись тяжелым беспокойным сном, и снился ему день, солнечный, ясный, совсем не похожий на осенний. В полумраке церкви тихо горели свечи и дрожащие

огоньки отблескивали на старых потемневших иконах. Снилось, что стоит он рядом с Натальей, а седенький приходский священник торжественно читает о них, оставляющих отца-мать и соединяющихся друг с другом связью, которую не волен разорвать человек. И с величайшей уверенностью ведут свадебную певчие.

Потом снилось, как опажнула прохладная свежесть воли, в которую, рванув с места, понесли их легкую, украшенную цветами и лентами бричку застоявшиеся вороны. Летел навстречу зардевшийся лес, а он, остановив вдруг коней, рвал для жены увесистые, сочные рябиновые гроздья. Но сзади уже нетерпеливо напирали подоспевшие тройки, и будущие сыновья торопили родителя, чтобы тот посторонился, дал дорогу гостям.

Алексей проснулся и еще несколько мгновений лежал неподвижно, озадаченный и потрясенный живостью сна, напомнившего явь. Неужели это было когда-то? И неужели ее — молодую, дорогую, милую — должен он сегодня везти туда, откуда нет возврата?

Он хотел полежать еще, но кашель — старческий, сухой — забил грудь, и, разбуженные его кашлем, поднялись зять, дочь, внуки. Поочередно прошли умыться. Затем с привычным коротким разговором сели завтракать.

Наталья умерла два дня назад на рассвете, и тогда же Алексей отвез ее в мертвецкую, чтобы проснувшиеся внуки-малолетки не забоялись ее, мертвую.

Вчера вечером пришли ответы на телеграммы: сыновья приехать к сроку не успевали. И сегодня был хлопотный день.

Сразу после чая зять уехал за венками, дочь ушла на кладбище проверить, все ли там готово. Сам Алексей остался с внуками. Вскоре пришли старушки, знакомые усопшей, с искренним желанием оказать под-

ружке последнюю услугу — помочь сготовить для поминок.

Двое из них остались хлопотать, а с тремя другими Алексей пошел к моргу по старенькой разбитой мостовой и дорогой все говорил о жене. Вспоминал, как они венчались, какплыли огошки по желтым тоненьким свечам и, одновременно погаснув, закрубились к куполу прозрачными дымчато-сизыми струйками и как кто-то прошептал из темноты: «Вместе помрут, друг за дружкой...» Старушки слушали сострадательно, с умилением.

У морга уже собирались люди. Пришли сослуживцы дочери, сосед Николай и еще кто-то. Принесли гроб, из приличия недолго послушали печальные причитания старушек и заспешили. Подъехал автобус. И пока провожающие, тесно сгрудившись у стены с развешенными на гвоздиках венками, фотографировались, шофер автобуса, угрюмый не то от природы, не то из сочувствия к человеческому горю, сосредоточенно рассматривал грязные колесные скаты.

Расселись без шума и ехали молча, пока не затрясло на ухабах за городом. Тогда всхлинула дочь, и на глазах женщин выступили припасенные слезы.

Алексей сидел в изголовье — маленький, сухонький, спокойный. Услышав всхлипывания женщины, он приподнял голову. «Нет, не то, — вздохнул про себя. — Не поняли еще».

Кладбище было новое, пустынное, без привычного шума деревьев. Автобус остановился в дальнем углу возле забора. На полотенцах вынесли гроб и, дойдя до вырытой могилы, поставили на осыпающийся взгорок.

Могильщики сидели на черенках лопат, перекуривали. Увидев Алексея, один, что постарше, поднялся, подошел поближе.

— Все ладно, папаша. Не подвели. Как договорились...

Алексей кивнул, спросил, выступала ли вода, согласился, что вода в песке не держится, и неловко сунул в руку собеседника трешницу. Потом опустился на колени, поцеловал жену в застывшие незнакомые губы.

Вместе с зятем они установили крышку. Алексей бережно приладил к месту оторвавшийся бумажный вензель и, достав из кармана небольшой молоток, стал аккуратно забивать гвозди, заранее вживленные в мягкое, податливое дерево.

Над гробом зарыдала дочь. Ее взяли под руки, а гроб поставили на бруски, положенные поперек могилы, натянули на веревках и плавно опустили вниз.

Дочери подали кусок земли — она бросила его на крышку. Тотчас полетели другие комки, и размашисто задвигали лопатами мужчины.

Холмик получился высокий, грузный, и его пришлось раздвинуть вширь, чтобы не завалить табличку. Алексей еще раз обстукал землю с боков и потрогал, крепко ли стоит тумбочка.

Люди уже разбрелись по кладбищу, выскивая грудки неокрепшего снега, чтобы вытереть вымазанные глиной подошвы, шепотом передавая друг другу, что нельзя в дом приносить землю с могил.

У автобуса стоял сосед Николай и показывал желающим лопату могильщиков.

— Гвардейская... Как покойник — так зарубка.

В автобусе стало просторнее, и домой доехали быстро. Помыв еще обувь в леденеющей луже, все гуськом потянулись в квартиру к накрытому столу. Переговариваясь, расселись: женщины потеснее на диван, мужчины поближе к водке.

Из кухни принесли кутью, и каждый взял в рот по

шепотке сваренного с изюмом риса. Тем временем наполнили стопки.

Алексей поднялся, и за ним встали остальные, внимательно ожидая, что он скажет.

— Помянем Наталью Федоровну. Помолчим немного, почтим ее светлую память и помянем.

Выпили стоя, не чокаясь, и потянулись к закуске. Вторую уже пили кто как мог и, согревшись вином, оживленно заговорили между собой, вспоминая покойницу. Говорили, что умерла она скоропостижно, легко, сама не намучилась и родных не намучила.

Выпив, Алексей отмяк. Водка отогрела зазябшие ноги и слегка развеяла утомленную пережитым голову, и на какое-то мгновение забылось, где он и что. Подцепив в блюде упругий сизоватый гриб, он привычно повернулся вправо.

— Спробуй-ка, Наталья...

За столом замолчали, недоуменно и со страхом переглянувшись между собой, а он, осекшись, мелко задрожал вилкой.

— Как же это?— спросил он непонятно кого.— Я теперь как буду?

Люди вздрогнули и придвинулись друг к другу. Свояченица и дочь припали к его плечу, стали утешать, говоря то, что принято говорить в таких случаях, произнося слова, в которых важен не сам смысл, а их мерное, успокаивающее звучание. Алексей удрученно молчал и так просидел до самого конца.

Гости ушли быстро: неудобно было засиживаться среди чужого горя. Расходились в смущении, чувствуя, что должны сказать нечто нужное остающимся, но это нужное никак не приходило на ум.

Вместе со всеми засобирался и Алексей. Дочь хо-

тела удержать его, но зять отсоветовал — пусть старик пройдет, развеется немного.

Алексей вышел и заспешил к большой дороге. Память гнала его в Марьино — село в тридцати верстах от города, где они когда-то венчались с Натальей и где вдоль проселка еще должны расти те стройные узорчатые рябины с тяжелеющими кистями, которые он видел сегодня во сне.

Вокруг догорал октябрь. Свежий, еще не схваченный морозом снег хлюпал под ногами. Воздух был талый, тихий, и шагалось легко. Алексей чувствовал, что он обязательно дойдет до Марьино, но на обратный путь сил не хватит. Но обратно идти не надо. Там, у рябин, должна ждать его молодая Наталья, с которой он когда-то лихо мчался навстречу будущему счастью. Она ждала — нужно было спешить...

Премия

Заканчивалась неделя, хлопотная и суетная, и на исходе пятницы заводоуправление гудело, как па-сека в погожий день. Незадолго появилось объявление, что сегодня в половине седьмого вечером в клубе состоится собрание и после него — концерт. Но было уже шесть, а рабочий день все не завершался. Бегали все, кто мог, и каждый с бумагами, которые вдруг оказались очень важными.

Уборщица тетя Поля, раза четыре за сегодняшний день принимавшаяся затирать грязные и мокрые следы в коридоре, покорно стояла в сторонке, ожидая конца нашествия.

— Брось ты, Поля, чего тут! Чище чистого все равно не будет,— сказал вахтер Федосеев. Время его де-

журства пошло, и он терпеливо ждал той минуты, когда можно будет замкнуть входную дверь, напиться чаю, что вот-вот закипит, и всласть подремать.— Оставь так, само высохнет.

— Что ты, что ты, нехорошо ведь,— вскинулась Полина.— Ужотко подожду, всяко сегодня уйдут,— поправила платок и, подойдя поближе, перевела дыхание.

— Дак ведь опоздаешь на торжественное,— заерзал Федосеев, поудобнее устраиваясь на стуле.

— Что толку,— отмахнулась Полина.— Смолоду не гуливала, так какое теперь веселье? Девки подрастают — их пора, а мне дома сподручнее.

— Сходи, сходи! Деньжат обещались подкинуть. Галлина из бухгалтерии говорила, что премию, которую заводу дали, директор велел на всех работников разделить...

Что-то хорошее затеплилось в груди, и Полина, стесняясь, опустила платок на брови.

— Может, правда, сходить? А то и в самом деле, как в темнице живу.

— Иди, иди... Там моя Авдотья собирает вас всех после торжества на чай пригласить. Песен хоть попоете. А грязь эту, как подсохнет, я венчиком пошурую. Иди. Вдруг премии давать станут, а тебя нет — неудобно...

Полина поспешно сполоснула швабру, спрятала ее вместе с ведром в закуток и заспешила домой переодеться.

Маленький покосившийся домик ее, вскоре после войны срубленный мужем в один топор, стоял недалеко от проходной, почти у самой ограды. Восьмой год без хозяина, дом пообветшал, осунулся и причинял множество хлопот с крышей, у которой давно бы надо сменить лопнувшую слегу, с дровами, которых по весне приходилось запасать на весь год, с водой, которую носили с

завода, и Полина порой подумывала: не сменить ли жилье? Но просить квартиру, имея собственный дом, казалось неудобно, нехорошо, да и совестно. Дом был самой сильной памятью о покойном муже, и каждый гвоздь здесь, каждая досточка помнили его руки.

Дочери были дома. Младшая спала, жарко разметавшись по постели. Полина поправила подушку, осторожно убрала у нее из рук куклу.

Старшая лежала на диване и приподняла голову от книги.

— Ты что рано? Я и поесть не разогрела.

— Не хочу,— отмахнулась Полина.

Она наскоро умылась и стала переодеваться.

— Куда это?— удивленно спросила дочь.

— Пройдусь немного. Собрание у нас.

— В честь чего?

— Как же, завод первое место занял, знамя вручать будут,— охотно объяснила Полина и не удержалась — похвастала:— Может, еще и премию дадут.

Дочь восторженно отложила книгу. Недоверчиво спросила:

— И тебе?

Полина уклончиво развела руками.

— Кто знает, должны бы. На трикотажной всем давали, кто больше пятнадцати лет проработал.

— Тогда дадут,— уверенно протянула дочь.— Ты у нас ветеран. А много?

— Не знаю, Таня, не знаю. Рубликов, может, двадцать, если только дадут. Что раньше времени загадывать?— Полина надела платье, повела плечами, распрямляя складки возле рукавов, и повернулась к дочери.— Я твою кофточку возьму? А то морщит что-то.

— Конечно, бери,— Татьяна подскочила к матери, помогая разгладить складки и счищая со спины при-

ставшие пылинки.— Если премию дадут, то мне на платье, да? Помнишь, ты обещала?

— Помню, помню,— заулыбалась мать, оглядывая себя в зеркало.

— Зелененькое, ладно? Мы вчера с девчонками в магазин забегали — видели: хорошенькая такая шерсть, и недорого совсем. Как раз к дню рождения бы сшили. Весь институт на вечера ходит, а я год проучилась и только раз была. Неудобно даже.

— За всеми не угонишься. Денег всегда не хватает — кому на хлеб, кому на вино, кому на машину. Вот выучишься, тогда сама себе все заведешь. А пока потерпеть придется. Но платье мы тебе сделаем.

— Спасибо, мамулька,— девушка шутливо чмокнула мать в щеку.

— Ладно тебе,— засмеялась Полина.— Сиди, занимайся. Если получу, завтра сходим и выберем. Случаем не хватит, так перехвачу у кого-нибудь до полочки,— и, покосившись на дочь, неуверенно тронула брови карандашом.

На собрание Полина запоздала. Украдкой прошмыгнув на свободное место, она стала внимательно слушать все, что говорилось с трибуны, и шумно аплодировала вместе с залом.

После речей вручали премии и подарки. Смущенные люди выходили на сцену, и в зале чувствовали и понимали это смущение, и старались поддержать товарищей громкими аплодисментами и ободряющими выкриками.

Полина не отрывала глаз от сцены. Она знала почти каждого в этом зале, но теперь старых друзей, подруг и просто знакомых приходилось узнавать заново. Принарядившиеся, оживленные, они казались моложе, интереснее тех, кто, поздоровавшись на ходу, ежедневно торопился мимо. В свои пятьдесят лет Полина была

для многих, даже для некоторых сверстников, просто тетей Полей, но сегодня она помолодела вместе со всеми и тихо радовалась.

Зал загрохотал добродушным смехом — вручали самовар Коле Топоткову — Топотку, как от мала до велика звал его весь завод, мужу сменщицы Полины, брыластому, небольшого роста мужичонке, работающему стрелком в охране. Смущенный не то вниманием, не то самим подарком, он держал самовар за обе ручки и не мог сообразить, куда его деть, чтобы пожать протянутую директором руку. В президиуме тоже смеялись и хлопали. Когда шум стал утихать, из-за стола, звякнув колокольчиком, встал председатель месткома.

— Торжественная часть, товарищи, на этом закончена. Сейчас десять минут перерыв, после — концерт.

Полина непонимающе вытянула голову — никак все уже, и в висках застучало, словно, натужившись, она подняла что-то очень тяжелое. «Забыли, видно... Да бог с ней, с премией! Только девчонку-то я, старая дура, зачем обнадежила?» На глаза навернулись непрошеные щиплющие слезы. Полина вышла в коридор и незаметно ушла из клуба.

Дома, едва скрипнула дверь, ее встретила сияющая Татьяна.

— Сейчас пойдем, да, ма? Универмаг до девяти ведь.

Полина покачала головой.

— Не дали мне ничего, доченька. Там никому не давали, — торопливо соврала она, глядя в сторону.

— Ладно, чего там, — вяло ответила дочь и прошла к себе.

Полина шла следом:

— Ты не расстраивайся, с полочки отложим...

— Отстань. Нет — и не надо, перебыюсь как-нибудь.

— Раз обещала — куплю. Только вот...

— Да перестань, — зло оборвала дочь. — Помолчи лучше. Ходить не в чем, одни разговоры.

— Зря ты так. Есть ведь синее шерстяное, вполне приличное.

— Да, — огрызнулась дочь. — Носи его сама! — и от-вернулась.

— Где я возьму, если нет денег? Воровать идти, что ли? — повысила голос Полина.

— А меня не касается: народила — так одевай. Можно другую работу найти, а ты как была душой, так ду-рой и осталась. Подумаешь, выслужилась — уборщица! А я жить хочу, как все.

Мать вспыхнула, схватила со стола хозяйственную сумку — первое, что попало под руку, и наотмашь уда-рила дочь по плечам, потом по спине и чему попало. Била не думая, не понимая, не больно, но злобно и. вспомнившись, враз обессилела, села к столу и горько, навзрыд заплакала.

Дочь закрылась в своей комнатухе и горько жале-ла себя, а мать, выплакавшись, тихонько разделась и легла на кровать, настороженно прислушиваясь к ма-лейшему шороху, и думала о своем.

Вспомнилась ей юность, та далекая тихая радость, когда к свадьбе неожиданно вдруг удалось справиться новенькое ситцевое платье, и она чуть не застонала от умиления, от живого дыхания прошлого счастья.

Как объяснить это дочери? Полина прикусила губу, чтобы снова не разрыдаться. Ведь ради детей только и живешь, — они свет в окне. Неужели — непонятно? Ко-нечно, живи сейчас муж — другой достаток был бы.

Но невезучая доля выпала ей: шестнадцать годов еще не стукнуло, когда на финской войне убили отца, и в тот же год умерла мать.

Две сестренки да братишка остались на руках у Полины, и все младшие. Когда в сорок первом году она получила паспорт, сестер и брата вписали в него как дочерей и сына. Иначе нельзя было: карточки тогда давали только на членов семьи, а Полина — глава ее, и поскольку не нашли в исполкоме, где же написано, что на иждивении могут быть братья и сестры, то и решили вписать их как детей. Помучилась Полина потом: потребуется где паспорт — глянут и дивятся: до чего же мать молода. Не станешь же каждому объяснять что и как.

Так и жили они. И замуж Полина не выходила, пока всех на ноги не подняла. Теперь все выросли, живут хорошо, грех жаловаться. И дочери вырастут... Не беда, что лишних годика два-три расфуфыренными не пощеголяют, образуется все. Были бы ум, здоровье да счастья немножечко! Остальное уж от самих будет зависеть.

С тем она и заснула. Обиды потихоньку покидали ее, вместе с тихими, облегчающими душу всхлипываниями, которые казались спящей дочери счастливыми шагами Алешки с третьего курса, который медленно шел по краешку моря и нес ее на руках куда-то далеко-далеко, навстречу разгорающейся заре.

На другой день вчерашние неприятности помельчали, еще на другой совсем забылись, и только под вечер, глянув в зеркало, увидела Полина, что добавилось седины в ее волосах, и тихо засмеялась: совсем старухой стала.

...Утром в понедельник Полину вызвали в бухгалтерию. Около дальнего стола спиной к двери сидел председатель месткома, а из-за него выглядывала улыбающаяся бухгалтерша Галя.

— Тетя Поля!— позвала она.— Иди сюда, премию получи...

Председатель оторвался от бумаг.

— Ты что же, Андреевна, на собрании не была?

Полина смутилась.

— Запоздала я, Николай Федорович. Дома долго прособиралась.

— Я глаза проглядела,— перебила Галя.— Смотрю перед началом — нет нигде. Ведомость-то у меня была. Остальные расписались давно, одной тети Поли, гляжу, нет... Заболела, может, думаю. Вот здесь,— она черкнула толстую синюю птичку и подала конверт с хрустящими бумажками.— Посмотри, тридцать должно быть...

Полина кивнула, старательно вывела подпись, поблагодарила.

— На здоровье, Андреевна,— отозвался председатель.— Хотели отрезом тебя отметить, да решили — так лучше... Сама выберешь.

Полина хотела сказать еще что-то, но раздумала. Неторопливо вышла в коридор, не удержалась, еще раз заглянула в конверт — полюбовалась на новенькие десятирублевки и радостно заторопилась в проходную — звонить дочери в институт.

Корениха

Дом стоял сбоку железной дороги, почти у самой насыпи, и каждый раз, когда мимо окон проходили поезда, он подрагивал мелкой порывистой дрожью, словно отряхивался от грязи и копоти, годами копившихся в каждой его щели. Раньше он дрожал еще сильнее — так, что дребезжали окна и плясала посуда в буфете, но теперь приутих: то ли от старости, то ли привык к

извечной спешке поездов, а может, просто просела земля от десятка каменных одноликих великанов, двумя рядами выстроенных за последние годы до самого моста...

Настя лежала на диване, укрывшись цветастым са- модельным одеялом, поверх которого для тепла был брошен старый полушубок, и пыталась вздремнуть. Но сон не шел, как не шел он оба этих дня, когда свалила ее расслабляющая болезнь. День накануне вылежала с большим трудом и неохотой, внутри все свербило от непривычного безделья, и сегодня не выдержала, поднялась. Подтерла пол, собралась было постирать, но голову снова закружило, пришлось лечь.

Смешно даже: полвека прожила, никакой хвори не привязывалось. Недосуг, видно, хворать было. Пятнадцати лет, после смерти отца, пошла на работу, помогала ставить на ноги младших, а там вскорости началась война. Мобилизовали ее, и вместе с ребятами из фабрично-заводских училищ шли два года за фронтом: восстанавливали дороги, строили мосты, рыли укрепления. А вернувшись домой, никого из родных она уже не застала: всех войной унесло, как лед половодьем,— и братьев, и мать.

В сорок седьмом вышла замуж, полтора года погоревав по невернувшемуся суженому. В поклонниках рыться не приходилось — не было их. Три вечера встречалась с Митей Корневым, низкорослым, малоразговорчивым мужиком, работавшим шофером при станции, и когда предложил — пошла за него, устав от барачной жизни. Был муж угрюм, замкнут, к тому же сирота. Жалела его Настя в те дни и по этой жалости многое прощала впоследствии. Так стала она из Егоровой — Корневой, а для товаров просто Коренихой.

Работать после замужества так и осталась на путях. Другому не обучена, а здесь дело нехитрое: ук-

ладывай рельсы, вбивай костыли да разравнивай балласт. Трудилась Настя с охотой — свой уголок появился, обставить его хотелось получше, как в хороших семьях. Работа тяжелая, не каждый мужик выдержит. Таких, мужиков-то, в бригаде никогда не бывало. Бригадир, шестидесятилетний Авденч, не в счет. И до сих пор посмотришь, одни бабы на путях. В мороз, в ростепель, в жару — знай маши кайлом да лопатой. Здесь выносливость нужна, а в ней баба любому мужику вперед очко даст. В выносливости мужику нет нужды, ему сила на разок требуется: подхватить что, унести да после перекурить с полчаса. А бабе самой природой положено, чтоб ее на все хватало: детей носить, рожать, кормить их, себе на жизнь зарабатывать, да еще чтоб и мужу на утеху оставалось. Отмашешь смену, придешь домой — руки-ноги как не свои, а тут поесть приготовить, стирки целый воз. Ребята малые, глупые, увозятся — места сухого не сыщешь. Ушей, заштопай да посуду обиходь — еле справишься к полуночи, а с восьми опять за кирку. Умаешься за день — никакая любовь в голову не лезет: выспаться бы! А мужику одно на уме: отработал смену — и на бок, никакой больше заботушки. Отчего же дури в голову не полезть?

Родила Настя семерых: шесть сыновей да дочку. Ребята что боровички рождались, крепкие, здоровые, а вот с Любашкой пришлось помучаться. Третьей она была, слабая родилась, недоношенная, вся с рукавичку. В глаза Насте говорили, что не выживет девка. Ничего, обошлось... Другие, пограмотнее, частенько пеняли: незачем, мол, такую ораву было копить. Кто же ее копил? Здесь дело такое — само получилось.

Что бы ни говорили, а Настя всех вынянчила, выкормила, одела и обула не хуже людей, и дивились ей малодетные соседки. Тяжело как было, поймет тот, кто

сам испытал. Может, не сиди дома семь ртов, и она бы себя сохранила, работу полегче нашла — в тепле, в неге. Только некогда было расслаживаться да нежиться. Деньги такой товар — как ни растягивай, как ни береги их, перед получкой во всех карманах затишье. А жить надо, и по выходным хлопотала Настя, где бы подработать. Через дорогу — дом большой, коммунальный, два подъезда. Лестницы жильцы по очереди моют: сколько человек в семье, столько недель. Настя частенько за кого-нибудь прибиралась. Работа хлопотная, грязная, не каждому хочется заниматься. А ей — подмога: вымыла — и в кармане повеселело. Цена твердая — двадцать рублей старыми за подъезд. Целый день семье без заботушки прожить можно. Работы Настя не боялась — дрова разделить, постирать за кого, и когда просили помочь, не стеснялась, не гнушалась — делала. Мир не без добрых людей, работа всегда найдется, а лишняя копейка в семье никогда не мешала еще. Когда ребята подросли, вроде полегчало. Любашка помогать стала — полы помоем, сготовит, стирает, что помельче. К десяти годам все умела девчонка: и шить, и стряпать, и мыть. Парням — тем хоть трава не расти, целыми днями в разгоне. Прибегут, кусок хлеба в рот, другой в карман, ковшик воды выдуют — и поминай как звали: в поле, на реке, в лесу бродят. Заявляются затемно — грязные, оборванные, голодные. Бранила их Настя, случалось, и бивала под горячую руку, когда терпения не хватало. Вертишься как белка в колесе, еле концы с концами стягиваешь, а тут глянь: один новые штаны о гвоздь разодрал, у другого ботинки, на которые рассчитывали, что до заморозков проносятся, в середине лета каши запросили. Как на огне, все на сорванцах горит. Они, конечно, сами понимают, как матери достается. Напроказят — и гулянке не рады, мучаются.

А только вырвутся на волю — враз все забудут: опять по всем канавам, по всем заборам черт понесет. Что поделаешь — дети. Может, только и радости, что в детстве, пока все в новинку, все интересно. Пусть порезвятся, лишь бы не хулиганили. Но у Кореневых на этот счет строго: так приучены, что друг за другом следят и друг за друга отвечают.

Любила Настя своих ребятишек самозабвенно, кажется, всю себя бы по кусочку отдала ради них. Правда, был грех, печалилась одно время, что парни все, кляла себя, подумывала: что бы двое старших девчонками были, забот бы, кажется, не знаять. Девчонки — те сознательнее, душевнее. От природы, что ли, дано сочувствовать? Но так Настя думала раньше. Теперь другая сторона на виду.

Выросли — одевать надо, а здесь на девку трудно угодить... Парням, тем что: вся мода — пара рубашек да штаны черные, чтоб на заднице не лоснились. Дешево и нарядно. А когда девка — невеста, родителям разоренье. Ничего не поделаешь — девятнадцать годочков. Платья, туфли, костюм, пальто — все справить нужно. В прошлый месяц сапоги купили, семьдесят рублей вывалили — с ума сойти! Конечно, сама теперь получает, но ведь месяц за одни сапоги работать пришлось. Хорошо — дома, прокормят. А если кто на стороне живет, тому как? Хотя сейчас многие так: на еде экономят, барахло покупают. Говорят, не в тряпках счастье, но и без них нельзя. В старом да латаном не пойдешь — белой вороней среди подружек будешь. Тянутся ведь за теми, кто получше одет, не спрашивают, хватает ли достатков. Ничего, пусть одевается. Теперь двое младших дома осталось, остальные на своих ногах. Уговор такой — свою получку она на себя тратит. Пусть гуляет. Девка без парня, что трава без солнца,

чахнет. Сколько, бедняжка, украдкой в подушку поплакала, что не смотрит на нее никто: и нос нашлепкой, и ноги бы получше не мешало. Все подругам завидовала — какие они ладные да хорошие. А пойдет куда с ними — оживится, засмеется и забудет про свои напасти. Красота разная, молодость одна.

Пришла и ее пора. Сейчас без своего Гришки шагу не ступит. Парень вроде ничего, умный, смирный. Годика через два-три пора и о свадьбе думать, как раз в пору войдет. Свадьба тоже хороша вовремя; кто в девках пересидит, тем редко счастье бывает.

Настя задумалась, погладила голову.

Правда, видно, не ладится у них что-то последнее время. Хоть дочь с матерью и не делится, так ведь Настя не слепая, сама видит, что девка как в воду опущенная. Поссорились, видно. У молодых это часто бывает: из-за пустяков повздорят, злятся, весь свет не мил, а через день глянешь, опять воркуют как ни в чем не бывало. Помирятся и эти, делить-то еще пока нечего.

Настя встрепенулась «Ой, что же это я развалилась... Ребята ведь сейчас придут, кормить надо...»

Она соскочила с дивана и босыми ногами прошлепала на кухню. Наскоро ополоснулась холодной водой, поставила подогреваться чайник, кастрюлю с супом. Голове полегчало, и решила она собираться на работу.

Четыре последних года Настя работала проводницей. Работа казалась легкой и спокойной. Ездила сначала на Урал, там служил старший Витька, первый вылетевший из родного гнезда, и забота о нем бередила душу матери.

Казалось, что там, в чужом краю, среди чужих людей, ее сын более других обижен, не накормлен, — и не раз украдкой всплакнула о нем Настя. В проводники пошла с одной тайной надеждой изредка видаться с сы-

ном, и дорогой всегда заговаривала с едущими солдатами — не доводилось ли встречаться с ее Витюшкой? Таких не было, но относилась Настя ко всем солдатам внимательно, даже нежно: «Свой служит, знаю какво». И когда ехали они в ее общем вагоне, делала неположенное: давала бесплатно матрасы на верхние полки. Без белья, правда, но за белье рубль надо, а солдату и это деньги. Тюфяки же пускай берут, все не на голых досках спать. И в любое время была готова напоить солдата чаем со своим сахаром. Прослужил сын на Урале два года, а виделась она с ним всего один раз, по первому году, когда случилось ему заехать в Свердловск по делам и вышел он на перрон. Увидела Настя, выскочила босиком прямо на снег, обняла, затащила в вагон, поплакала на взрослую худобу — и рассталась, будто второй раз служить проводила. Кто провожал, те помнят, как оно. После каждую поездку ждала ту минуту, когда появится грузный свердловский вокзал, и не сводила глаз с платформы — не заспешит ли по ней солдат...

На обратном пути спать не могла. Одно было спасение — разговаривала с пассажирами. Жалостливое бабье сердце чутко к несчастью, и с ней охотно делились те, кто ехал на похороны близких или еще по каким грустным делам.

Мало-помалу шло время, отслужил старший, но домой не вернулся, устроился на работу в Москве. В Москве же учился и второй — Юрий. На экзамены уехал тихо, не загадывая ничего, а вернулся — лица от радости нет. Сдал все на одни пятерки. И перевелась Настя на Московское направление, поближе к сыновьям. Ездила через три дня — трое суток в дороге, трое дома. Дома варила, стирала, мыла, запасала продукты и снова уезжала.

Ездил уже в купейном вагоне — пассажиров там меньше, люди все солидные, выдержанные. Но работать было скучнее. Раньше вся жизнь пассажиров шла на глазах. Люди спорили, охотно говорили вслух, для всех, теперь же закрывались в купе и говорили между собой. У нее же только спрашивали, как скоро будет та или иная станция и не опаздывает ли поезд, когда подадут чай и в каком вагоне ресторан.

Сегодня была Настина смена, и, поотлежавшись, она решила, что поедет. Хоть время зимнее, пассажиров немного, но напарнице одной все равно не справиться, молодая еще. Да и невыгодно поезду пропускать: часы не выработаешь — в конце месяца получать нечего. Потому и не пошла Настя к врачу — ветерком пообдует само пройдет.

Прошло вроде.

Она отрезала полбатона, кусок черного, отсыпала немного сахару — в дороге чаю попить, все лишние копейки не тратить — завернула в газету.

С шумом и смехом вбежали в дом младшие — один во втором классе, другой в пятом. Подталкивая друг друга, разделись — и к столу в футбол играть. Отец младшему на день рождения подарил настольный футбол, и теперь они целые вечера за этой игрой просиживают.

Только старший за стол — брат из-под него стул возьми и выдерни. Хохот, потасовка — не выдержала Настя:

— Тише, бесенята... Соседи ведь внизу, а вы возитесь... — Угомонились, нобаловство так и светится в черных глазах и в уголке рта шевелится. — Мойте руки да за стол живо.

Разлила Настя по тарелкам суп, сняла с огня чугу-

нок с картошкой, выскочила на балкончик, принесла в миске соленых огурцов — ешьте!

От мужика своего хоть немного толку, но это его работа — огурцы, капусту, грибы на зиму заготовить. Если все в магазине покупать, никаких денег не хватит. А так хоть и небольшой огород перед домом, но себе хватает. Отпуск свой Настя осенью брала — картошку выкопать, дрова с улицы убрать, капусту засолить, грибы. Свои руки ничего не стоят. Зимой выставишь миску горячей картошки да грибы со сметаной — уписывает ребятня за обе щеки, только треск стоит.

Подала Настя каждому по ложке, собралась сама присесть — хлоп! — сидит на полу, понять ничего не может. А младший стоит сбоку, палец у рта держит и с обидой в голос спрашивает:

— Мамка, а ты почему не смеешься?

Охнула Настя. Хоть и больно, а от смеху не удержалась. Вишь, разбаловались! Им интересно, так думают, и матери нравится. Шлепнула для порядка, шикнула, а сама пошла шпилек поискать, чтоб голову убрать. Свои куда-то делись, решила у дочери взять.

Подошла Настя к комоду, верхний ящик выдвинула. Хранила там дочь всякую всячину: открытки, камешки, флакончики. Шпильки, знала Настя, хранились в коробке из-под леденцов. Она открыла коробку и отобрала десяток «невидимок», как вдруг откуда-то бумажка выпала. Небольшая, зеленоватая. Настя подняла ее и положила на место, машинально скользнув по листу взглядом, и, заметив свою фамилию, поднесла листок к глазам...

Прочитав начало, почувствовала, как деревенеют ноги, и тяжело опустилась на стул, не отводя глаз от лиловых убористых строк.

— Все точно... Коренева Людмила... Ах ты пакость

такая,— Настю затрясло, и от волнения лицо пошло пятнами.— До полусмерти излуплю стерву, не жалко... Господи,— схватилась она за сердце,— стыда-то сколько!— Поднялась снова... Присела, немного посидела на стуле и в нетерпении заходила по комнате, поминутно выглядывая из окна, не идет ли дочь. Походила, немного успокоилась, задумалась. Криком делу не поможешь, навредишь только. Девка шальная — не выкинула бы чего. «Ей и так сейчас весь свет тошен»,— подумала Настя, и злость постепенно стала отпускать ее.

Вскоре вернулась дочь и торопливо прошла к себе в комнату.

— Что, девка, догулялась?— спросила Настя напрямик, без обиняков.

Дочь дернулась, хотела, видно, сдержит, но сникла, молча сглотнула наворачивающиеся слезы и, упав навзничь в постель, зашла в рыданиях.

Настя испуганно бросилась к дочери, стала отрывать ее от подушки.

— Успокойся... Придумаем чего-нибудь... Да слушай же, что скажу,— крикнула она наконец, и дочь притихла, тяжело всхлипывая.— Поздно воду лить, не поможешь,— и осторожно провела рукой по зареванному лицу дочери.— Он что, бросил тебя?— спросила она в сторону, покусывая ворот платья.

Дочь всхлипнула:

— Не... не знает он...

— Тогда вот что: о дурости своей думать забудь — дите никак губить не дам. А с хахалем твоим сама переговорю, когда вернусь.

— Са... сама я...

— Сама, сама,— передразнила Настя.— Излупить бы, чтоб места живого не осталось, да, видно, поздно уже. Эх, девка, девка,— сокрушенно продолжала она.— Не

думала я, что так получится, все маленькой считала, — и решительно перевела дыхание. — Я сегодня уеду, ты тут не глупи. Ему передай, чтоб зашел, когда вернусь, вместе решим.

Настя вышла, но тотчас вернулась.

— Отца в это дело нечего впутывать, да он, может, еще и не приедет. Ребят утром покорми, не забудь...

Дочь согласилась убито, но уже без слез.

Настя ушла на работу. На станции быстро приняла вагон, растопила печь, кипятильник включила — за хлопотами забылась беда, только зудело в груди что-то непривычное, тягучее.

Пассажиров было немного, человек двадцать. Когда поезд тронулся, Настя собрала билеты, разнесла по купе белье и будто ненароком задержалась в последнем. Приметила Настя их еще на посадке — больно хороша была пара: молодые, красивые, обходительные такие. Он стелил ей постель, а она с детской улыбкой молодой жены следила за его уверенными, мускулистыми руками. Чужое счастье.

«Эх, держись, девка», — подумала Настя о пассажирке, и словно что-то кольнуло ее под сердце. Вспомнила, уронила тяжелую, мелко разбившуюся о пол слезу — и в служебку бегом.

— Ты чего? — спросила засыпающая напарница.

— Так, спи...

Напарница шумно повернулась и всхрапнула, а Настя ткнулась головой в стол и тихонько всласть заплакала.

Еле дождалась, когда поездка кончилась. Вернулась, сдала вагон сменщице — и домой. Только дверь отворила, видит уже: зятек фактический сидит у стола. Сидит, сукин сын, жмурится и глазами по сторонам шныряет — стыдно небось. Маленький, пухлогубый, сущий телок! В

другое время Настю бы смех разобрал, но сейчас по серьезнела. Поздоровалась — и к делу.

— Ну, что теперь?

— Что теперь, — развел руками зять. — Заявление вчера снесли, тридцать первого распишемся, как раз по Новому году.

Дочь стояла у печки и густо полыхала краской.

— Это-то все ясно. Свадьбу на какие шиши играть будете, или так, шатай-валяй думаете.

Парень замялся, но не смутился, полез за пазуху:

— Есть тут немного, возьмите, — протянул тоненькую пачку десятирублевков. — Полторы сотни пока, да ведь еще больше месяца впереди, заработаю.

Настя засмушалась.

— Пусть пока у тебя лежат... У нас, конечно, сбережений особых нет, но ничего, кое-что добавим. Не хуже чем у людей будет, — решительно протянула она и потупилась. — Не думали мы, что так получится, да что поделаешь!

Помолчали. Настя задумалась, потом строго спросила:

— Ну, а как жить думаете?

— Живут же люди, проживем...

— Жить-то живут: и кошка живет, и собака живет...

Я о другом говорю. Ты извини меня, малограмотную, если что не так, но не подумай, что я ее замуж толкаю, чтобы шито-крыто все сделать. Сглупила — ее грех, и я не прикрыть его хочу, а счастья вам обоим хочу, чтобы жили по-человечески, не маялись. Если не любишь али колеблешься, на нее как на жену не надеешься, то не женись. И нам и тебе лучше. Дитенка вырастим — семеро рук не оттянуло, восьмой не оттянет.

— Да что вы, — задохнулся парень... — Не подумайте чего, я давно ее знаю... Да мне, да мне жизни без нее нет, — решительно выпалил он и загорелся еще ярче. —

А получилось так, что тут объяснять?— он потупился, **намотал** головой.— Все равно не поймете...

— И не объясняй, милой, не надо, я и так понимаю. **И** для ясности сказала, чтобы знал ты, что не одолжения **прошу** и не дочкой своей торгую, а о счастье вашем **дум**ню. Ну, а коль любишь — дай вам бог всего хорошего. **Жить** вот только тесновато будет — сам видишь, не густо **у нас с местом**...

— Жить я договорился,— обрадовался парень.— **Тет**ка нас пустит, а сама к моим перейдет. Вот свадьбу **толь**ко у вас, наверно, придется.

Все было решено в этот вечер, и началась у **Наст**и новая жизнь.

Про свадьбу у Корневых вскоре узнала вся улица, и **тай**ная гордость жила в **Наст**иной груди, что все будет **сделано** по закону, как положено, и она радостно **рас**сказывала знакомым о всех мелочах приготовлений. **Бы**ло только неприятно думать, что после, когда все **откро**ется, те же товарки вдоволь поперебивают косточки **и ей** и дочке. Что же поделаешь, пусть позлословят. **Жи**вые ведь люди, а грех да беда с кем не живут?

За хлопотами незаметно летело время. К свадьбе **поч**ти все было готово. Обрядили молодых: костюм, хоть и **покупной**, пришелся жениху аккурат впору, сшили платье **не**весте — длинное, по моде, красивое. Приглашены и **два**жды оповещены были гости. Уже договорилась **Наст**я с соседями насчет посуды — у кого что взять, подыскала **сто**лы. Федосеич — сухой и молчаливый плотник из **со**седнего двора, сколотил десять скамеек, чтоб было на **чем** сидеть гостям.

Даже водку **Наст**я привезла из Москвы — слышала, что там она лучше, не чета местному «сучку».

С деньгами, правда, подзатерло. Накоплений у **Наст**и отродясь не бывало, весь расчет на получку пришелся.

У соседней перехватила, в кассе взаимопомощи на работу взяла да еще нежданно-негаданно по лотерее оренбургский платок выиграла. Поколебалась сначала — и взять ли платком, давно мечтала, да решила, что обойдется. Деньги нужнее. Правда, когда деньжонок старший прислал, пожалела — выкрутилась бы и так, а теперь когда такое счастье выпадет?

Много ли, мало ли, а ушло на свадьбу почти шесть сот рублей. Раньше бы сказать только!.. Меньше никак нельзя — худо-бедно полсотни гостей надо пригласить. Одной родни с зятевой стороны пятнадцать человек — по своим теперь быть надо. Да дружки-приятели соберутся. Ничего, пусть гуляют...

Оставалось до свадьбы меньше недели, и собралась Настя в последнюю поездку. Чтобы часы не потерять, пришлось ей сменами обменяться с расчетом, чтоб два дня до свадьбы и всю свадьбу дома быть. Перед отъездом затеяла Настя большую стирку — скатерти, занавески, шторы, половики вымыла. Выполоскала все и сушить развесила: что покрупнее — на чердак, а для мелочи поперек квартиры веревку натянула. Пока возилась, подошло время посадку делать. Охнула Настя, быстрехонько собралась — и на улицу. Морозило. Зардевшимся, переливающимся ломтем лежала в небе луна, и весело хрустел снежок под разношенными Настинными валенками.

До вокзала — рукой подать, только ходить неудобно. Сначала до моста крюк делаешь, перейдешь — назад возвращаться надо. Опоздаешь не ровен час — прогрессивки лишат. С чужой бригадой едешь, всякие люди бывают. Нажалуются — объясняйся после. Настя перебежала мостки и свернула к линии — быстрее так. У светофора шумно пыхтел паровоз, готовясь стронуть грузный длинный состав.

«Ах ты напасть какая,— подумала Настя,— переждать еще придется». Шумно дыша, заспешила она на междупутку к ближней тормозной площадке. Неуклюже забралась на нее, перешла на другую сторону. Мощный рев пролетающего курьерского заставил ее вздрогнуть и отшатнуться. Стоять было неудобно — бетонированная канава обмерзла и ноги соскальзывали. Со стуком и свистом громыхали ярко освещенные вагоны. Настя повернулась, сделала несколько шагов по ограждению, чтобы встать поудобнее, как вдруг нога, не находя опоры, подвернулась, и, всплеснув руками, Настя качнулась вбок, навстречу тяжелому, со множеством рассыпавшихся огоньков удару...

Закрутилось, завертелось все вокруг, и что-то острожгучее в затылке опрокинуло ее в забытье.

Очнулась она уже под утро. Непонятным, кошмарным сном казалось ей ажурное сплетение ветвей на стене — тень от деревьев, освещенных желтым ночным фонарем.

На стон подошла сухонькая незнакомая женщина, вся в белом, поправила одеяло, погладила по руке: спи, милая, спи...

— Где я?— спросила Настя.

— В больнице, милая, в больнице, — ответила женщина и тихим шепотом рассказала Насте, что пробита у нее голова — ударилась, видно, о бетонную плиту. Сразу, как привезли, сделали операцию, и теперь все должно обойтись, надо только отдохнуть... В утомленной Настиной голове туманом поплыли мысли о свадьбе, о том, что вот в первый раз опоздала на работу, но все бессвязно, отрывчато, и она снова забылась.

На третьи сутки она уже встала с постели, подошла к окну. Посмотрела на густые, стриженные тополя, напугавшие ее в первую ночь, вздохнула. Каждый день при-

носили ей передачи и спрашивали, не отложить ли празднество до ее выздоровления. От переноса Настя отказалась — намечено, надо делать.

Организм ее, не привыкший к лекарствам и долгому отдыху, быстро восстанавливал силы, и, пролежав еще сутки, Настя захлопотала, засобиравшись было домой, но врач и слушать не стал.

— Никаких дел, голубушка. Из самой могилы, считайте, вытащили. Недельки две-три придется полежать без разговоров.— И Настя покорилась его властному тону. Но душа томилась заботами по дому, казалось, что без нее сделают не то и не так, и соседки по палате как могли утешали ее.

Легким искристым снежком заканчивался декабрь. Его последний день был чистым, светлым, и с утра чувствовалось праздничное настроение врачей, сестер. Даже больные оживились, повеселели. Настя встала рано и сразу села к окну. Ее о чем-то спрашивали, она отвечала невпопад, а сама смотрела сквозь опущенные, узорчатые ветви и ждала, когда поедут здесь, этой дорогой, и боялась отвлечься хотя на мгновение, чтобы не пропустить, успеть взглянуть на молодых.

Ей казалось, что вот сейчас выскочит из-за поворота белая, в цветах и лентах машина, на заднем сиденье которой увидит она дочь-невесту... Вот сейчас, еще немного... Настя переносила и переносила момент, когда должна была появиться машина, и каждый раз вздрагивала, когда мимо окон проезжали редкие на этой окраинной дороге «Волги», «Москвичи». Жадно смотрела сквозь вспотевшее стекло — не здесь ли, но дочери все не было...

Пообедали и разбрелись по местам соседки: кто за-снул, кто читал, а Настя все сидела у окна, уже не ве-

ря, что они проедут мимо, но все же надеялась, что проедут.

— Коренева, — позвали из коридора, — где ты там?

— Иду, иду, — вскинулась Настя.

— Тебе тут целый воз навезли всего, — весело заворчала санитарка, пропихиваясь к двери с огромной бельевой корзиной. — И цветы где-то раздобыли середь зимы. — Она тяжело плюхнула корзину на стол.

— К окну подойти наказывали, сейчас подъедут, — и скороговоркой заперебирала: — Наряженные такие, красивые, прямо ангелочки... — Любопытство уже толкнуло соседок по палате к окну, и когда подошла Настя, подвинулись, освобождая ей место, а сами деликатно сгрудились у краешка. Настя потянулась на цыпочках, заглядывая вниз, — да, конечно, они, — и костяшками забарабанила по стеклу: здесь я, здесь...

Внизу стояла вся ее семья — семеро детей, муж, зять и еще несколько молодых ребят и девчонок, прохожие, а на дороге ждали машины, и первой — та, белая, украшенная цветами и лентами, которую выглядывала Настя весь сегодняшний день.

Снизу ей что-то кричали, махали руками, а она бестолково терла стекло рукавом халата и говорила с детьми.

— Витюшка-то когда приехал? — тыкала она пальцем на старшего сына. — Похудел-то как. А Колька, Колька, вояка несчастный, что ж ты не писал так долго?..

Она переводила взгляд с одного на другого и не могла наглядеться. В центре стояли молодые — смущенные, нарядные, взрослые, а за ними, то и дело поправляя галстук — сам хозяин Дмитрий Коренев. Он что-то сте-

пенно показывал жене на пальцах. Настя обняла окно—сквозь гомон проступили голоса.

— Завтра заедem, обещали в палату пустить,— это старший, Витька.

— Мама, у нас все хорошо, не беспокойся!— это дочка, звонко, пронзительно...

— Там за нас хоть чаю выпей,— озорно подмигивает зять...

Настя слушала и понимающе кивала забинтованной головой, затем, испугавшись, спохватилась, замахала руками— езжайте, езжайте, куда же раздетые на морозе стоите...

Ее поняли, попятились к машинам, начали рассаживаться. Настю тотчас затормошили товарки.

— Неужто все твой?— спросила рябая веселая старуха Марья, что лежала около дверей, и подивилась:— Не нынешняя, девка, у тебя семья...

— Как только вырастила всех? У меня трое— сладу дать не могу, а тут семеро. Чудно,— протянула санитарка.

— Так и вырастила,— заулыбалась Настя,— все живы-здоровы, не хуже других...

— Красавцы, красавцы,— затараторила Марья,— писанные красавчики, один к одному. Я и не видывала таких... Старшой-то который?

— С отцом рядом стоял...

— А, русенький... Я подумала— дружок чей, потому как светленький. Остальные все в тебя, смуглые, а это, видно, в отца...

— В отца, в отца,— согласилась Настя.— Тот всю жизнь как лунь белый, так его до женитьбы Цыганом дразнили. И третий, солдатик-то, тоже в него, а остальные все в меня.

— Ох, Настя, счастье-то у тебя какое!.. Самый малый уже вырос — живи и радуйся.

— Ну, хватит воду лить, давайте лучше чайку попьем — вишь, добра сколько натащили, — распорядилась Настя. — Сходи-ка, Марья, за кипятком, принеси чайничек, — она вытащила из угла букет гвоздик, искала глазами, куда бы поставить...

— Из Москвы, видать, Виктор привез, — заметила Настя, поглаживая белый махровый цветок, — у нас здесь таких нет... Садись с нами, Тоня, — кивнула она санитарке, — посидим маленько ради праздника.

— Посижу, — согласилась та, — начальства сейчас нет, по домам справляют. Пойду заварочки принесу. — И она пошлепала в коридор.

— Помогите, бабы, — потащила Настя свертки из корзины. — Наложили, будто не кормят нас здесь, — ворчливо посетовала она и вскрикнула: — А это еще что, хлеб-то пошто, — в недоумении вынула пышный белый каравай.

— Погоди-ка, — бойко заметила Марья, — знаю я эти штуки. Она помяла корочку, вытащила из середины темную, с блестящим горлышком бутылку. — Мотри-ка, вина нам прислали, молодых проздравить...

Рассмеялись. Собрали стаканы, выпили несколько глотков за здоровье молодых, даже Настя попробовала алую, сладковато-жгучую жидкость, слегка отдающую ягодами, и, повертев бутылку, прочитала вслух: ликер.

— Жизнь прожила, не знала, что вино сладкое бывает, — под дружный смех удивилась она.

Незаметно подкралась ночь, и вот уже спят соседки по палате, сморенные усталостью и неожиданным весельем, только Насте не спится. Где-то вдалеке глухо и торжественно говорило радио, Настя лежала с откры-

тыми глазами и думала о детях. Ей было легко, голова не чувствовала никакой боли, только хотелось поговорить еще, рассказать, какие они, ее дети. Но крепким сном спали соседки, и Настя боялась пошевелиться, чтобы нечаянно не разбудить их.

...Радио смолкло. Раздался мелодичный, праздничный перезвон, и тотчас где-то далеко-далеко разлилось, зашумело навстречу ему веселье, и казалось, что жизнь опять начинается заново...



П О В Е С Т Ъ

ХЛЕБ ДЕТЕЙ ТВОИХ

1

После демобилизации осенью сорок седьмого года Илья Ветров поехал не на Урал, где жил до войны и где были похоронены старики родители, а решил вернуться на Север проведать семью своего погибшего друга и командира Леши Нечаева.

Двое суток пробыл он в Москве, теперь уже мирной, привыкшей к потокам демобилизованных и, протолкавшись ночь в переполненном общем вагоне, поздним сентябрьским утром сошел на небольшой заспанной станции. Поправил закинутый за спину «сидор», потом окликнул встречного мужика, низкорослого, но на вид крепкого.

— Слушай, друг, это Колдома?

— Почти,— весело откликнулся тот.— Если на станцию — она самая, а если в поселок — то вон за светодомом дома,— показал он рукой и пристально посмотрел на Ветрова.— А кого, если не секрет, надо? Не меня, чай?

— Нет,— усмехнулся Ветров,— не тебя.

— Ну и добро,— согласился встречный.— Бывай здоров, солдат. Не найдешь, кого ищешь, заглядывай ко мне — Веньку Маслова спросишь, укажут...

Ветров не ответил. С шумом и лязганьем летел навстречу паровоз с вереницей грязно-красных, с верхом

груженных вагонов. Потянуло горелым железом, запах-
ло деревом — свежим, смолистым, оба запаха мешались,
щекотали ноздри терпкой, запомнившейся с войны сла-
достью. Подлаживаясь под перестук колес, Ветров
лишагал к поселку, но то и дело сбивался с ноги, не угады-
вая промежутки между шпалами.

Поезд прошел и затих. Немного погода вздрогнул и
покатился над округой гулкой гудок, замер и отозвался
глухим эхом где-то далеко за лесом.

В полях над густо-зеленой, высоко поднявшейся ота-
ной колыхались серебристые нити паутины. Все вокруг
было высветлено солнцем, и неясная тревога, жившая
и душе Ветрова, и глухое раздражение от бессонных
ночей вдруг как-то утихли, пропали. Илья даже запел
что-то вполголоса.

За станционным пакгаузом начались огороды — длин-
ные гряды с кучками увядшей картофельной ботвы,
плотными капустными кочанами за серым частоколом
плетней. Несколько женщин копались на черных грядках
и надежде, что какие-то картошины еще остались в
земле. Заметив незнакомого солдата, они выпрямились
и принялись разглядывать его из-под сложенных ко-
зырьком ладоней.

Ветров спросил про Нечасовых, и женщины напере-
бой стали объяснять ему, в каком доме живет Кате-
рина.

Тропинка вывела его за огороды на бугор, заросший
лопухами и чертополохом. Ветров мимоходом сорвал
мягкую пожухлую головку, размял ее пальцами, с си-
лой вдохнул медово-приторный запах, напомнивший
ему детство. Сначала он вспомнил дом, как рубили в
детстве пунцовые головки деревянными самодель-
ными саблями, играя в войну, а уже игра напомнила об
Алексее. Вот в такой же тишине среди сорных зарос-

лей лежали они под маленькой деревушкой со смешным названием Песья Радость, что рассыпалась по косогуру недалеко от Харькова, слушали, как звенят шмели обрадованные тишиной и манящим ароматом, смотрели в небо и рассказывали друг другу о себе. Полк отдыхал перед наступлением. К тому времени прослужили они вместе месяцев шесть и хотя разница в возрасте была невелика, Алексей с грубоватым простодушием старшего опекал застенчивого салажонка. Год, на который Алексей родился раньше Ильи, стал для него годом войны, и потому он казался старше чуть ли не вдвое. А в тот раз они говорили на равных — вспоминали прошлое, делились всем сокровенным, что есть на душе.

Еще Алексей читал вслух письма жены, с которой прожил лишь три дня — от повестки до явки на призывной пункт, читал все подряд, томясь и тоскуя, и неожиданно взял с Ильи слово, что в случае чего (маленьки что бывает на войне) тот обязательно заедет в Колхозу и расскажет Катерине все как есть и было.

Теперь Илья шел один, шел и думал, что ждет его в конце этой дороги? Как и что говорить о жизни того кого больше нет? Перешагнув поваленный плетень Илья прошел заросшим, наполовину некопаным огородом, постучался в дверь. Никто не ответил, тогда Илья потянулся к окну, негромко брякнул в стекло.

— Не заперто, входите, — отозвались изнутри.

Илья поднялся по ступенькам в сени. Не заметив порога, оступился. Загромыхало по полу сбитое ведро блестя лужеными боками в серебристо-дымчатых солнечных полосках. Илья поставил ведро на прежнее место и вошел в избу.

У стола сидела худенькая женщина с ребенком на руках, кормила малыша намятой с молоком картошкой.

— Здравствуйте,— наклонил голову Ветров.— Мы с Лешей... С Алексеем вашим служили вместе.

Женщина крепко обхватила сынишку, медленно поднялась из-за стола, с испугом и надеждой заглядывая в глаза вошедшему. Молча кивнула: входите. Ветров подошел ближе, протянул руку к головке малыша:

— Николка, значит... Большой уж. Три ведь ему?— утвердительно спросил он, не дожидаясь ответа. Как раз в этот день письмо пришло, что родился, мол, а Алешу в этот день ранило в плечо.— Эх, да,— вздохнул он, не зная, как высказать то, что думал, но Катерина поняла. Помолчали: о том еще не время было говорить.

— Как живете-то,— спросил Ветров,— не забижают?

— Ничего, спасибо. Пенсию за Лешу получаю, сама работаю. На лесопильном заводе здесь, в поселке. Ну чего ты, маленький,— она покачала прижавшегося к груди малыша,— то к нам в гости дядя приехал...

Малыш настороженно взглянул на Ветрова, потом снова уткнулся матери в плечо.

— Боятся он у меня... Привык один играть, пока я на работе. Сидит, кубики раскладывает. Никого почти не видит.

— Одного и оставляете?

— Да больше делать нечего. Иногда, правда, старушка одна, Макаровна, живет тут недалеко, заглядывает, да сама, когда минута свободная, прибегу. Раньше на работу с собой брала, но сейчас продукции много, посадить негде. Да он ничего, спокойный. Один остается, не боится.

Ветров отер рукой лицо, подумал про себя — долго ли так до беды, но ничего не сказал.

— А ну, богатырь, давай на самолете покатаю.— Он взял малыша под мышки, несколько раз поднял к потолку.— Вон мы какие большие, и-эх! Выше всех!

Из-под потолка раздался тихий смешок.

— Не боишься, значит? Правильно, не бойся...

Он поставил малыша на пол, отдышался. Николка немного подождал, потом протянул ручонки.

— Еще...

— Хватит, Коля, хватит,— погрозила пальцем мать.— Дядя устал,— и, словно извиняя радость сына, добавила:

— Редко кто с ним играет, вот он и рад.— Потом заторопилась, смахнула со стола крошки.— Вы садитесь, я сейчас быстро соберу что-нибудь.

Илья остановил ее, взял мешок, зубами потянул узел:

— Есть тут кое-что, возьмите,— и стал выкладывать на стол банки с яркими картинками и четкими нерусскими буквами по бокам.

Катерина подвинула банки обратно.

— Не надо, ничего не надо... У нас же есть все,— торопливо добавила она, зная, что он не поверит, и неловко поклялась:— Честное слово, все есть. Лучше у себя оставьте.

— А это не мое,— отмахнулся Илья, вынимая новые свертки.— Это друзья Лешины собрали, попросили передать. И это тоже,— он протянул завернутый в газету отрез материи и отвел глаза в сторону, словно боясь, что она по взгляду догадается, чего стоило ему выменять новые сапоги и часы на этот вот сверток и как торговался на базаре в Лодзи пронырливый старикашка с крючковатым, выдавшим виды носом.

Катерина нерешительно взяла одну банку, поблагодарила. Николка привстал на цыпочках, потянулся пальчиком к ярко-красной коровьей голове.

— Мама, что это?

— Консервы, сынок.

— А их кушать можно, да?

Илья шумно сгрел банки в охапку.

— Это все положим вот сюда, в буфет, а теперь скажите, как в этом доме разжигают огонь.

Катерина достала с печки зажигалку.

— Да нет, печь топите или чего?— объяснил ей Илья.

Она достала из-под лавки керогаз, протянула тоненькую лучину. Огонек пробежал по дереву, перескочил на фитили и загудел голубым пламенем. Илья налил в кастрюлю воды, бросил щепотку соли, поставил греться. Потом ловко взрезал жечь банки, вывалил содержимое в воду, добавил немного пшена из кулька, остатки положил за узорчатую буфетную створку.

— Любишь ты, Николка, пшенную кашу?

Николка нерешительно глянул на мать, улыбнулся:

— Люблю.

— Тогда принеси маме ложку, и пусть она смотрит, чтобы не пригорело в кастрюле, а я пока двор посмотрю.

Дел было много: половицы в доме давно рассохлись и протяжно скрипели при каждом шаге, дверь на поветь — крытый сарай, пристроенный к дому, перекошило, и она не закрывалась, на колодце не было крышки, а в крыльце уже загнили некоторые ступеньки. Ко всему требовалась мужская рука, и мысленно Илья прикинул, что дня на три здесь придется задержаться, подзаняться ремонтом.

За завтраком он сказал об этом Катерине.

— Спасибо, сама я,— отказалась та.— Руки ведь есть...

— Сама, сама,— передразнил Ветров.— А двор течет, а огород не копан, дров нет — тоже сама?

— Дрова есть,— торопливо возразила она.— С завода отходов выписала.

— Отходы в дело пустим, а дров настоящих надо. От щепок этих проку все равно не будет. И запомни, что мне это строго-настрого товарищи заказали: заехать и помочь в чем требуется. От Леши мы, кроме добра, ничего не видели и семье его бедствовать не дадим. Так что не скрытничай, лучше сама подскажи, что сделать, да инструмент найди какой-нибудь.

Он говорил с ней каким-то стариковским покровительственным тоном, каким говаривал их ротный старшина, вечно ворчащий и скупой украинец Шулько, и не мог заставить себя говорить иначе, потому что чувствовал, насколько он опытнее и умудреннее этой беззащитной девчушки, которая, наверно, и сама не верит, что уже несколько лет единственная хозяйка в доме и три года мать. Инструмент нашелся — топор, рубанок, лучковая, рассчитанная на одного работника пила, немного гнутых ржавых гвоздей.

— Ну, пойдем, Николка, помогать мне будешь.

Мальчуган радостно побежал следом. Первым делом Илья поправил на повети верстак и принялся строгать доски на колодезную крышку. Покойный дед когда-то пытался приучить его к топору и рубанку, и теперь приходилось только жалеть, что по молодости и глупости от науки этой он усвоил самую малость. Доски друг к другу кое-как еще подошли, а вот скрепить их на шипах оказалось не так просто: они хлябали, выскакивали в пазах. Пришлось потратить добрых два десятка гвоздей, чтобы прихватить покрепче. Николка сидел под верстаком по пояс в стружках и строил из обрезков домик.

Навесив на колодец крышку и привинтив сверху дверную скобу, Илья сел перекурить. Вышла Катерина, улыбнулась.

— Ну, теперь гора с плеч. Я столешницу последнее

время наваливала: Николка уже большой, лезет везде... Ой, а где же он?— всплеснула она руками.

— Под верстаком дом себе строит...

Они поднялись на поветь. Николка, весь облепленный стружками, чуть слышно посапывал, приклонив головку на старый чемодан.

— Ой, горюшко,— негромко засмеялась Катерина и, подхватив сына на руки, стала осторожно очищать его от стружек.— Уработался с дядей вместе.

Неслышно ступая, она внесла сына в избу. Илья шел следом.

— Подержите немножко, сейчас постель разберу...

Илья бережно прижал малыша к груди, а затем сам уложил его в приготовленную кроватку.

— Я сейчас на работу ухожу,— зашептала Катерина, жестом отзывая Илью в сторону,— так вы уж тут похозяйничайте одни. Спать, поди, хочется?

— Да не знаю... Я бы на печке полежал, если можно.

— Вот и ладно. Постелю я, отдохайте тоже. Николка долго не проснется — может, и до утра проспит. А если вдруг есть попросит, каши дайте, да чаю вон в кружке наладила ему.

Катерина ушла.

Илья стянул гимнастерку и ополоснулся под ручкомойником. Потом аккуратно сложил на табуретке обмундирование, из стыда перед хозяйкой запрятав подалее заношенную нательную рубаху, обернул вокруг голенищ портянки и полез на печь.

Но сон не шел: вперебивку мелькали мысли, сквозь ситцевую вылинявшую наволочку сочился нежный дух увянувшей травы. Снова нахлынули воспоминания...

Там, под Песьей Радостью, и зацепило его первый раз. Случилось это неожиданно и страшно: перед рассветом откуда-то ударили по деревне немцы, какая-то

заблудившаяся часть, да так, что солдаты своих мест занять в траншеях не успели и дрались врукопашную на околице. В этой суматохе и наскочил Илья на тяжелый, опрокинувший навзничь удар. Помнилось только, что услышал он чей-то громкий выдох, почувствовал замах, но увернуться не успел. Деревушку эту вернули и прошли еще километра два вперед, а Илья так и остался за околицей, неловко завалившись на спину — не слыша, не чувствуя, не понимая. Еще не все стихло, когда принялась за дело похоронная команда, сортируя трупы своих и врагов, стаскивая их к двум приготовленным могилам. И лежать бы Илье Ветрову вместе с боевыми товарищами, не случись тут помкомвзвода Нечаев. Это он, вернувшись за брошенным впопыхах шанцевым инструментом, неожиданно усмотрел, что Илья вдруг шевельнул рукой. Тотчас кликнули санитаров, и Ветрова отправили в санчасть...

Вскрикнул и громко заплакал во сне ребенок. Илья торопливо соскочил вниз, громко ударившись босыми пятками, подул мальчугану в лоб, бережно погладил плечо. Причмокивая, несколько раз шлепнули губешки — успокоенный Николка повернулся на бок.

Илья оделся, обул на босу ногу сапоги и вышел во двор покурить. В темноте редкими желтыми пятнами светились окна, и над ними — зеленая точка светофора. За огородом ровным стрекотом заходились кузнечики, а где-то вдали, как отодвинувшаяся линия фронта, отсвечивали слабые сполохи зарниц. Илья сел на крыльцо, шумно затаился и поднял голову.

Выбиваясь из серебристой пыли Млечного Пути, горели звезды — крупные, яркие, и чем пристальнее вглядывался Илья в небо, тем ближе придвигалось оно к нему. Но отскочившей головкой спички пролетела на землю звезда, видение исчезло. Быстро отодвинулись

Назад звезды, все еще крупные и яркие, но уже далекие, чужие, холодные.

— Кто там? Закурить не найдется?— раздался из темноты знакомый и хриплый голос.

— Найдется,— полез в карман Илья. Человек из темноты приблизился и, протянув руку за папироской, наклонился, пытаясь узнать собеседника.

— А, солдат,— обрадовался он.— Что ж сразу не сказал, что к соседке моей прибыл.

— Не знал, что соседка,— подвинулся Ветров, освобождая место.— Садись.

— Знакомый али кто будешь Катерине?

— С мужем ее служил вместе,— Илья сделал две сильные последние затяжки, обжигаящие пальцы, аккуратно плюнул на светлячка.— По пути мне, так ребята просили по хозяйству помочь.

— При тебе Лешка-то погиб?

— Не совсем. Он после госпиталя опять в нашу дивизию попал, только в другой полк. На роту его поставили. Получил в штабе назначение, выехал, а на место так и не прибыл. Несколько дней разбирались, потом дознались, что на попутной добирался и накрыло их прямым попаданием. «Студер» мины вез, рвануло — никаких следов не осталось, но свидетели нашлись, подтвердили, что именно в него и садился Лешка. В Польше, в феврале сорок пятого...

— Да...— протянул Маслов.— Сколько хороших мужиков погибло — ужас! Мог бы ведь уцелеть: третий год воевать заканчивал, опытный. Мы с ним по корешам были. Я, правда, постарше его, перед войной срочную отслужил. За Катьку раньше его думал посвататься, да хотелось в парнях еще погулять... Мне-то повестка на день раньше, чем Лешке, пришла, двадцать третьего получил. Собралась команда, повезли нас на

лошадях в райцентр. Трое суток добирались — едем, песни поем. Старший наш, бригадир с лесопилки, не выдержал даже — хватит, мол, шарашиться. Войну можем не захватить — закончится. — Веня побрякал коробком, выругался. — Чертов табак, чуть прозевай — газнет. — Я даже встревожился: а вдруг и в самом деле кончится, как же я тогда на гулянке покажусь — и медали нет. Прибавили мы ходу, прибыли в военкомат — нас обратно на станцию: эшелон там грузится. И прямым ходом на Ленинград — не обмундировали, ничего. Утром отправили, вечером уж под бомбежку угодили. Бригадир того, что старшим был, первым и хлопнуло. Маленький осколок в голову — и крови почти не было. Словно чувствовал: для него война быстро закончилась. — Венька помолчал и вопросительно глянул на Ветрова. — Ты как насчет двойной наркомовской за знакомство?

— Не привык вообще-то отказываться.

— Во, другой коленкор! — повеселел Венька. — Вояка вояку всегда поймет... только, — он смущенно почесал затылок, — ко мне домой лучше не ходить. Жена все может испортить.

— О чем говорить? Давай здесь. Хозяйка все равно на работе, да и дома бы была — всяко бы не заругала.

— Не... Она баба с понятием, к ней здесь в поселке все хорошо относятся.

Расположиться они решили на кухне, чтобы не будить Николку. Илья положил на стол пару луковиц, поставил разогреваться на керосинку кашу, а Маслов проворно достал из кармана поллитровку, похвалился.

— Как увидел, что ты по соседству расположился, тут же на станцию до магазина слетал: надо, думаю, взаимодействие родов войск крепить. В пехтуре, значит, топал?

— В ней, матушке...

— А я артиллерист... Ну, бывай. За встречу!

Поставив стопку, Венька с аппетитом съел ложек пять каши и зажмурился.

— Эх, хороша. Отвык я от хороших-то харчей — все больше картошка да капуста. Ешь, ешь, а не впрок: из-за стола встал, а в брюхе пусто. Один крахмал. А он только рубашкам со стоячими воротничками полезен. Ведь в войну всяко бывало, но поесть всегда что-нибудь сообразят. Первая заповедь — накорми солдата... А тут ждешь и не дождешься, будет какое облегчение или нет. У меня вон пятеро... Весной наскреб кое-как мешок картошки, засадил две гряды. Через неделю — нет мочи терпеть, жрать просят — пошел и вырыл боровка три.

— Сколько быросло!..

— А ни хрена неросло. Мешок посадил — двух не собрал. Порченный какой-то был картофель: то совсем не взшло, а то ветку выгнало, а внизу — пусто. Да ну их к черту, эти заботы, душу только зря бередить!

— Может, поправится все... Карточки вот обещали отменить.

— Конечно, когда-нибудь поправится. Куда оно денется? Ты не обращай внимания: я ведь не ханурик какой, не люблю приbedняться. Просто иной раз поругаешь жизнь — вроде и повеселей стало...

За разговором засиделись они допоздна. Чтобы не быть в долгу у нового друга, Илья решил внести свой вклад, чему Маслов весьма обрадовался и проворно слетал на станцию.

Около двенадцати трижды мигнул свет.

— Отключить движок должны, — объяснил Веня.

И точно, свет вскоре совсем потух. Зажгли свечу, и беседа продолжалась.

Многое это значит в жизни человека — задушевная, неторопливая беседа, и чувствовал себя Илья в расположении превосходном, даже Венькино предложение остаться в Колдومه встретил одобрительно. А что, от добра добра не ищут! А жизнь — она везде похожая.

Вернулась Катерина. Удивилась застолю, но виду не подала, по крайней мере вслух ничего не сказала.

Венька радостно затараторил, расхваливая Илью:

— Больно хороший мужик-то вас навестил. Вон как засиделись, и домой собраться не могу. Рассудительный, мастеровой — обо всем побеседовали. Говорю вот ему: оставайся здесь, чего по свету рыскать, раз сирота. Жить всяко найдем где, верно, Катя?

— А чего не найти? Вон у Никандровича пол-избы пустует, у нас можно в комнате за печкой. Не мыто там только давно...

— Невелика беда — не мыто. Зато смотри — квартирант какой! Завтра назначили тебе крышу перекрыть, прямо с утра начнем. Я как раз выходной. Дранки у меня целый сарай, на прошлой неделе привез.

— Не помню я что-то, вроде не выписывали тебе дранку... — усомнилась было Катерина, но Венька с укоризной распахнул руки.

— Да что ты, мать, как же не выписывали! Двадцать связок взял: себе, думаю, да и соседке останется. Тебе ж не заново крыть — подлатать только. Выпей с нами стопочку.

Катерина поколебалась, потом махнула рукой.

— В чаю только, — и, заметив, что заедать-то мужикам почти нечем, завозилась у керосинки.

На сковороде зашипело, и ароматно запахло салом.

— Да не хлопочи ты, — вздумал было остановить ее Маслов. — Вон в кастрюле еще каша есть..

— Ой, каша, ой, каша,— протянула Катерина,— там и было-то всего три ложки Николке...

— Лук еще был,— вставил свое слово Илья,— самая царская закуска.

— Ну, мужики, что с вас спросишь! Нате вот,— на стол легла пофыркивающая сковородка с макаронами в масле.

— Кучеряво живешь, соседка!— похвалил Маслов.—
Смотри — харч какой...

— Макаровна на той неделе принесла две баночки. Федя у нее на совещании где-то был, привез...

Под макароны осталось по последней стонке. Поморщившись и крякнув после нее, Веня ткнул пару раз вилкой в тестообразную кашницу, лениво пожевал и почувствовал себя сытым — таинство, которое можно объяснить лишь нетребовательностью русского желудка к своему содержимому: есть там что-нибудь — и добро, абы не пустовало.

Дальнейшее сидение потеряло для Маслова смысл. Он попрощался до утра и ушел.

— Худо, поди, мужик живет?— спросил Ветров, когда на улице хлопнула калитка.

— Мало хорошего — семь ртов. Одна ложка по очереди идет...— Катерина зевнула.— Давайте укладываться, а то Николка, раз не просыпался, скоро встанет — покоя не даст.

Илья залез на печку, хотел о чем-то еще поговорить, но незаметно для себя уснул.

Так появился в Колдومه и прожил свой первый день здесь Илья Ветров.

Маслов, как и обещал, пришел, но не спозаранок, а к обеду. Вид у него был смущенный. От приглашения к чаю сначала отказался, но потом выпил стакан.

— Слабоват что-то у тебя чаек,— упрекнул хозяин.

— Да никак не соберусь одуванчиковых корней не копать. А с одного малинового листа какая крепость.

— Много и времени надо: вышла за забор, покоила полчаса да сунула в печь сушиться— на зиму хватит. Мне один друг обещал настоящей заварки привезти. Поделюсь, если не обманет.

Выйдя во двор, Венька в нерешительности остановился. Во-первых, насчет двадцати связок дранки с вчера гнал тюльку, то есть, попросту говоря, врал, во-вторых, работать с утра ему решительно не хотелось, мечталось о кружечке холодного пива, которое вчера было на станции.

Илья посчитал Венькины предложения разумными решительно двинулся с ним к железной дороге. Приезд Ветрова был главной колдомской новостью в эти дни— о нем все знали. Встречные приветливо здоровались с Ильей, с любопытством разглядывая его с головы до ног, и, если прислушаться, можно было разобрать, что и говорят о нем.

От такого пристального внимания было немного неловко, и Илья беспрерывно расспрашивал Маслова в поселке, его окрестностях, о расписании поездов и отпуская свои замечания намного громче, чем следовало бы.

На станции Маслов был своим человеком. Коренастый, важного вида мужик в красной фуражке— дежурный по станции вышел из своего закутка, поздоровался с Венькой за руку, но от приглашения зайти в столовую отказался: служба.

Пива по две кружки буфетчица отпустила без очереди и даже в долг, а к столику, где расположились Маслов и Ветров, тут же подсели еще трое. Они-то и вручили Веньку, пообещав ссудить материал для ремонта.

на крыши, правда, не дранку, а тес. От радости, что все оборачивается хорошо, Венька развил бурную деятельность: пошентался в одном углу, в другом, куда-то сбегал, потом принес еще по кружке пива. А когда он и Илья вернулись в поселок, во дворе Катерины лежал аккуратный штабель досок, в одну из которых Николка уже вбивал гвоздь.

— А где мама, Николка?

— К бабушке поехала. С дядей, котолый доски пленил,— бойко ответил малыш.

— Все ясно. Митрофанов решил, что заодно и ему веранду обошьем. Ну, Федя, хитер. Связался я на свою голову. Да ладно...

Маслов принес лестницу, подставил ее к крыше, забрал ящичек с гвоздями, найденными вчера Ильей, и полез наверх. Латать он начал с северного, порванного ветром склона. Старательно вымерив длину, бросил мерку Илье.

— Пили вот по этой рейке да подавай сюда.

Илья уложил на козлы сразу три доски, выровнял их с торца, отмерил длину и принялся пилить. А Николка тут как тут: держит во рту палец и с завистью наблюдает.

Илья подмигивает ему.

— Давай, богатырь, берись за другую ручку.

Пила начинает ходить осторожно, почти не захватывая досок, зато вид у Николки — сплошная деловитость: губа закушена, тянет пилу, перебирая по земле ногами взад-вперед.

— Вот молодец,— хвалит Илья и, перехватив пилу, уже в одиночку решительно отсекает концы досок.— Бери теперь эти остатки, неси к сарайке и в поленницу складывай. Мы потом из них с тобой домик птичкам сделаем...

Венька на крыше проворно постукивает — дело подгонку и экономно вбивает гвозди. Началась работа болтать да прохлаждаться некогда.

Маслов — местный, колдомский. После ранения он леживался в госпитале в Перми, откуда привез дорогую, по-восточному скуластую женщину, которая ран в два была крупнее Веньки по сложению, и с ней — грудного ребенка.

Местные девки за допущенное к ним пренебрежение Веньку невзлюбили и при случае ехидно прохаживались насчет подробностей его семейной жизни. Венька на их зубоскальство не отвечал — хранил достоинство. Но вскоре его начали подъедать и мужики, довольные что есть повод почесать языки на досуге. Но с мужиками у Маслова разговор был короткий: выслушав шутки словно бы к нему не относящиеся, он молча лез в карман за куревом и как бы ненароком распахивал фуфайку, под которой блестели два ордена и пять медалей или же красовались орденские планки — в зависимости от того, что было надето на Веньке. Поскольку среди колдомских мужиков не было никого, кто отличился бы больше, шутники прикусывали языки и переводили разговор на погоду, политику, на заводские новости, которые Венька обсуждал охотно и с толком.

Правда, как-то раз заводской фельдшер Никандрович усомнился было в Венькином геройстве, но высказал сомнение не прямо, а намеком:

— Медали — это еще не все. Был у нас в санбате хохол один — Буценко, сапожником и ездовым числился, так тот медалей насобиравал, что и на грудь не помещаются. Когда нас из Румынии отправляли по домам обмундировки новой никакой не дали: кто в чем был в том и поехал. Так у Буценко отбою не было от заказчиков — босиком не поедешь, а обутка почти у всех

разбитая была. Так он, подлец, плату медалями брал. Всяко бывает...

Венька принял байку на свой счет, но отмолчался. Только на следующий день у столовой, где любили сидеть и судачить колдомские мужики, в газетной витрине поверх желтого, месячной давности «Гудка» появился небольшой, потертый на месте сгибов листок армейской газеты «Вперед». Здесь в помещенной на центральном месте заметке рассказывалось о старшем сержанте Маслове, какой он есть герой, а на фотографии, из-под сдвинутой ушанки лихо торчал пышный Венькин чуб.

Такое доказательство Венькиного геронзма окончательно урезонило мужиков, но не женщин. Какая-нибудь разбитная молодка при встрече по-прежнему лукаво щурила глаза:

— Похудел ты что-то, Вениамин Григорьевич. Подика Мария бока отдавила... Укатают Сивку крутые горки,— и прыскала в кулак, подталкивая локтями соседок.

Однако, когда через год Мария принесла двойню, бабы слегка прикусили языки, а когда к следующей зиме в избе Масловых заверещало еще двое, женское население Колдомы начало поглядывать на Веньку с уважением... Правда, ненадолго.

Как все русские мужики, тем более фронтовики, Венька «выпить не любил» и по причине недостаточной комплекции, а также расстроенного войной здоровья пьянел быстро и тогда становился хвастлив, задирист и в хорошей компании нетерпим. В такие минуты особенно не жаловал он женщин, был исполнен к ним всеческого презрения, и плохо приходилось собутыльнику, которого жена вдруг задумывала изъять из Венькиного общества. Маслов внимательно выслушивал супружеский диалог — то бурный, истерично-гневный, то вкрад-

чивый и мягкий и, когда замечал, что приятель начинает поддаваться агитации и собирается уходить, громко вздыхал и изрекал свой постоянный афоризм:

— Лучше быть у коня под копытом, чем у бабы под каблуком.

И было в этих словах столько язвительной иронии, что самые смиренные, самые покладистые мужики, как говорил Никандрович, «садились на беса», то есть отсылали жен куда подальше, а сами пристраивались поближе к Веньке, демонстрируя свою самостоятельность и независимость. Жены отступали, но вечером, выясняя семейные отношения, все же умудрялись доказать свое превосходство, и в этих баталиях, слышных на всю Колдому, Венька проклинал на все лады. Но брань на нем не висла, и для многих он оставался желанным гостем.

Ценили в Маслове то, что он имел точные и веские мнения по всем житейским вопросам. К тому же он обладал природным талантом музыканта — без его музыки не могли обходиться ни одна свадьба или крестины в поселке.

Зла Венька ни на кого не таил и охотно шел в любую семью, куда его приглашали. На торжествах он вел себя почтительно. На каждый жизненный случай у него была заготовлена притча или байка, и как опытный рулевой правит лодку среди весеннего половодья, так Маслов руководил весельем и, пока за столом соблюдался чинный порядок, не брал в рот ни капли хмельного.

В каждом застолье есть особая переломная точка, то есть тот момент, когда каждый начинает веселиться и развлекаться по-своему. Венька называл это «сапоги всмятку». На свадьбе, например, перелом начинался, когда запевали «Златые горы». Ладно и дружно под-

жваченная песня свободно лилась до середины, когда герой забывал «роковую клятву» и, «стыдясь измены», отсылал возлюбленную обратно в дом отца. Всегда находился соображающий, который в этом месте всегда кричал, чтобы запевали другую песню, но его не слушали, и застолье делилось на два, а то и на три хора, и теперь каждый пел свое. Тут Венька и вспоминал о себе. Аккуратно сняв гармонь, присаживался к столу, вдоволь угощался, и когда вновь растягивал меха, то был уже, как говорится, «готов». Играл уже только плясовые, и, если гармонь не попевала за требуемым темпом, он с размаху ломал ее через колено и требовал другую. Эту его слабость знали, и к свадьбе всегда припасали еще одну гармошку. Как только половинки первой вылетали за окно, тотчас подавали вторую. Венька об этом тоже знал и из этой нормы никогда не выходил, тем более что ремонтом занимался сам же, целыми вечерами просиживая за верстаком, склеивая меха и перебирая планки. Свою хромку он ломал и ремонтировал раз пятнадцать. И хоть с хрипотцой и западаниями, гармонь все же продолжала лихо и весело звенеть в Венькиных руках.

Таким был новый друг Ильи Ветрова.

Часа через два Маслов и Илья разделались с крышей и без роздыху, пока охотка не спала, перешли к Митрофановым.

Тут работа была посложнее: доску-вагонку пилить строго по шаблону и забирать веранду в елочку ровными узорчатыми рядами. Каркас веранды Митрофанов сделал вместе с Никандровичем еще летом, но потом Никандровича вызвали на курсы, после курсов он уехал в отпуск, потом лежал на печи — лечил радикулит. Од-

ному же Митрофанову с покалеченной в детстве левой рукой точная столярная работа не удавалась. Делать же кое-как, лишь бы сделано было — не хотелось: не год тут жить, не два, а до смерти, и лучше, если будет покрасивее.

У Митрофановых Илья с Венькой провозились до заката. Хорошо еще Никандрович объявился — тому, правда, сгибаться было трудно, но, стоя в полный рост, он мог прибывать заготовки.

Солнце верхним краем еще цеплялось за макушки елок, когда Илья приладил последний брусок.

— Ну что, пойдем на станцию сдавать Митрофанову работу? — предложил Маслов.

— Приглашал, приглашал, — козликом закивал белой головой Никандрович и заторопился. — Я быстренько, только медпункт запру.

Ветров с Венькой идут поселком — усталые, довольные сделанной работой. Илья чуть притормаживает, нерешительно советуется:

— Может, на завод заскочим предупредить Катерину?

— Брось ты выдумывать! Жена, что ли? Да и женат будешь — перед бабой в каждой мелочи отчета не давай, иначе так оседлают — не вздохнуть. Я эту породу знаю... Давай лучше ко мне привернем, фуфайку хоть сброшу. Заодно поглядишь, как я живу.

Дом у Масловых в ряду с другими за неровным серым забором сбочь косогора. Три окошка глядят на пустырь, где в окружении белых головок одуванчиков там и сям чернеют неровные проплешины от помоев.

— Мария, гости, — громко предупредил хозяин и чуть тише обратился к Илье: — Входи да не пугайся: целое общежитие...

За шторой что-то загремело, неожиданно погас свет.

Венька засмеялся.

— Да свои, свои... Включай свет. Нашла выход, Бестолочь, — и объяснил: — Плитка электрическая у нее не учтена. Как варить — так и дрожжи основным листом.

— Болтай больше, — зло огрызнулась жена, щелкая выключателем.

В помещении было тесно и неуютно. Когда-то это была одна комната, потом ее перегородили досками, отделили кухню — и получилась квартира. Справа — зев русской печки, слева — стол с тремя стульями, а рядом кровати впритык друг к дружке. Пять голов чернеет...

— Это что, все твои? — удивился Илья.

— Который похож, тот мой, — отшутился Венька. — А тут, как видишь, ни один не похож.

Жена сердито оторвалась от ведра, в котором мыла миски, поздоровалась с досадой в голосе. Не понял Ветров — то ли на мужнюю шутку озлилась, то ли гость не ко времени.

Венька взял управление в свои руки. Походя смахнул со стола крошки, выдвинул стул.

— Присаживайся! Видишь, хоромы какие. Но главное, своя крыша над головой. Протекать, правда, стала. Пока в таз каплет. Залатать надо будет завтра.

— У тебя второй год завтра, — заворчала жена. — Для других людей рад стараться, лишь бы бутылкой поманили. А дома хоть синим пламенем все сгорит...

— Помолчи, — коротко отрезал Маслов. — Сказано — завтра. Жребий кидали, мне вышло в третью очередь, — соврал он, подмигивая Илье.

Жену это объяснение успокоило. Она сняла с плитки кастрюлю с кашей, намереваясь поставить чайник, но Венька замотал головой: не надо.

В этот миг за перегородкой заплакал маленький, и мать заторопилась к нему.

— Вот оно, счастье, — кивнул головой Венька. — Всю крапиву вокруг дома летом пожрали, весь щавель в затоне выбрали. Вот потому после смены я домой и не спешу: как увижу все это, словно нож в сердце... А куда денешься? Народил — корми. Переживем, наверно?

— Да ты не от голоду, так от вина сгоришь, — отозвалась из-за перегородки жена. — Подумал бы хоть своей непутевой головой...

— Ерунда, — крикнул Венька, — русский человек выдюжит. Вот у меня дед был — восьмеро ребятишек на руках своих да двое приемных. И всех вырастил! А ведь пил... На моей уже памяти бывало: принесет полчетверти, поставит на стол. «Ну, вино, давай поборемся: ты меня али я тебя? — прикончит досуха, потрясет головой. — А ведь я тебя одолел, — скажет. Походит, побухтит — и на боковую. — Да и ты, оказывается, парень, силен!» — свернется и храпит до утра. Девяноста трех годов помер, да и то по-дурачки: в бане напарился, хватил как следует, на полати залез да оттуда и тянулся — сразу насмерть. Но ничего не скажешь, жил долго и семью вырастил. А все оттого, что душевное равновесие в жизни было. Мастеровым дед слыл отменным — и плотничал, и столярничал, и сапожничал и нас к делу приучал. Будь у меня в ту пору ум, научись я ремеслу — тоже бы жить было легче. А так одни невзгоды, на душе пасмурно... — Он задумался, помолчал, потом бесшабашно махнул рукой. — Ладно, образуется, будет когда-нибудь просвет. Ты давай обживайся здесь да жену толковую ищи — это, брат, великое дело бабу толковую найти: как у Христа за пазухой жизнь будет. Пускай корень, а потом мы с тобой закрутим. Верно, Мария? — громко спросил жену.

— Не ори, — оборвала его Мария, — ребятишки спят.

— Молчу, — покорно согласился Венька. — Я только

вон про Илью — мужик хороший. Женить бы его здесь, а, Мария? Понщи-ка ему невесту...

— Это уж сам пусть выбирает, со стороны трудно смотреть.

— Тоже верно,— согласился Маслов.— Это я так, для сотрясения воздуха. Ладно, пошли.

— Куда это?— всполошилась жена.

— Как куда?— искренне удивился Венька.— Расчет за работу получать, не бесплатно же ломили.

— Не пропивай хоть деньги-то,— крикнула вдогонку Мария.

Венька рассмеялся.

А через полчаса в столовой были сдвинуты два стола, и Маслов, хвалясь споровкой, проворно разливал «белоглазую».

Митрофанов, уже сдавший смену, поднялся со стаканом в руке.

— Значит, мужики, уговор дороже денег. Общество мне любезность, и я — чтобы общество уважать. Будьте здоровы!

Илья накрыл стакан рукой.

— Извините, братцы, не могу. Посидеть — посижу, раз положено, а пить нельзя — контузия. Приехал — позволил, а после мучился.

Венька посмотрел вприщур.

— Коли брезгуешь, не надо, не неволим. Только мы к тебе всей душой: поддержать, мол, человека надо, помочь сблизиться с нами. А ты?

И столько обиды было в его голосе, что Илья не устоял.

— Теперь другое дело,— хмыкнул Венька.— Теперь как родной...

Продолжая балагурить, он рассказал очередной анекдот:

«Умаялся мужик за ночь, спит — ног не чувствует. Вдруг стук в окно:

— Хозяин, дрова нужны?

— Какие к чертовой матери дрова, ничего не надо.

Просыпается утром, смотрит — обеих поленниц нет».

Все захохотали, и Илья тоже. Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное новым друзьям, такое, чтобы враз поняли — он им не чужой, а свой, близкий человек, товарищ.

— Хороший вы народ, мужики, — сказал Илья, — душевный. Все-таки здорово, что я сюда попал...

— А ты сам откуда? — спросил Митрофанов.

— Уральский он, — подмигнул Маслов, — с Нижнего Тагила. Это у которых сапоги-то без подошв были...

— Знатный народ, работающий, — согласился Митрофанов. — Я на днях тут прочитал — вагоны новые стали выпускать, целиком железные и дно откидное, чтобы разгружать удобнее... Нам бы такие — для снижения простоя.

— Работать надо, — захохотал Маслов, — а не ура кричать. У тебя вон полсостава в тупике простаивает, а ты тут чай гоняешь. Смотри, возьмется за тебя военный трибунал: сейчас как раз мода пошла — судить за задержку подвижного состава. Ты, Федор, первый кандидат...

— Не зубоскаль, баламут, без тебя тошно, — отмахнулся Митрофанов. — Занес меня черт в эту глушь... В других местах вон какие дела заворачивают, а тут живешь как в ссылке.

— Ты, Федя, не егози, — остановил его Маслов, — доживем и мы, тоже дела закрутятся. Слышал, что с весны целый комбинат будут ставить? Большие тыщи людей в землянках живут — жилье надо. А окна, двери,

полы откуда? От нас — от вологодцев да архангельцев... Погоди, может, еще и городом станем...

— Может, и станем, — согласился Митрофанов. — Хотя бы перед старостью пожить по-человечески. Вот я перед войной в Москве у свояка жил: квартира на одну семью, паровое отопление, водопровод, даже баня на дому — живи не хочу. В магазинах все, что душа пожелает, кино в двух шагах... А ведь одногодки мы с ним, на одних курсах учились.

— Да, — завздыхали мужики. — Только-только все наладилось вроде — и на тебе, напакостил Гитлер...

Теперь заговорили все наперебой. Вспомнили довоенное житье, сетовали, что карточки еще в прошлом году намеревались отменить, а и ныне про то не слышно. Беседа становилась все оживленнее и бестолковее. Никандрович, навалясь на стол, упорно гундосил, что германца завсегда бивали, и в несчетный раз повторял один и тот же вопрос, пытаясь выяснить, где воевал Ветров. А Илья, обеими руками держась за столешницу, беспрестанно спрашивал старика, правильно ли он поступит, если на родину к себе не вернется, а пустит корень здесь, в Колдоме. Никандрович, прослезившись, лез обниматься и божился, что сосватает Илье самую лучшую девку в округе.

Ему никто не перечил, потому как Илья — фронтовик, два дня как от службы освободился, а вон уже сколько добрых дел сделал. И Венька вдруг на работу накинудся, чего за ним раньше не замечали.

Венька, обрадованный угощением, выставленным не из приличия или снисходительности, а заработанным честным трудом, потихоньку ел пирожки, рыбу, свою и ветровскую порции гуляша...

А Илья забыл об еде за разговорами. Да, четыре раза был ранен — и все легко, только контузия тяжелая,

рассказывал он, и решительно обрывал каждого, кто пытался увести разговор в сторону.

Потом он запел:

Еще годик войны
И не будет мужчин,
Их и так уж немного осталось...

Но в это время буфетчица, которой стало надоедать затянувшееся пированье, подошла к Митрофанову и что-то сказала ему на ухо. Митрофанов крикнул, решительно застегнул пуговицы кителя и поднялся.

— Все, граждане. Прибыли на конечную.

Из тепла вышли в холодную слякоть, закурили и разбрелись кто куда.

Прокладывая тропинку через жидкую, поблескивающую под луной грязь, Илья шел следом за Венькой. Догнав, обнял за плечи.

— А что, Вень, в самом деле — жениться, что ли?

Расстались они на огородах. Прощались и сходились добрый десяток раз, пока не договорились окончательно и твердо, что наутро Венькина жена начнет обрабатывать Катерину насчет замужества, а после обеда можно и посвататься.

Катерине не спалось. Пришла со смены — пусто в доме. Сходила к Митрофановым, забрала Николку. Макаровна сообщила, что Илья помогал веранду делать, а куда делся дальше, она не знала.

Дома Катерина засветила лампу, прилегла рядом с сыном. На душе было тревожно. В голове мелькали мысли: «Где так долго сидеть?.. Не случилось бы чего — человек чужой, может, и сообщить не знают куда... Хотя в поселке вся жизнь на виду: и хотел бы утаиться — не получится. Сегодня уже всю смену балябонили, выпрашивали — кто да зачем приехал, да надолго ли... Языком потрепать любителей много. Галь-

ка первая... Не забыть бы утром сказать ей — пусть хоть кисти в воду ставит. Бросит где попало, обсохнут, а ты мучайся. Последняя партия, как грязью вымазана, вся в подтеках. Ветер-то, ветер-то как завывает... Непогода установилась, а у него и сапоги все изношены — латка на латке. Может, Макаровну спросить — не подсобит ли найти чего. Зима ведь на посу... Всяко не уехал — вон мешок в углу. Разве кто знакомый ехал, так сел. Спросить пойти к Веньке...»

В сенях осторожно завозились, отыскивая в темноте дверь. Катерина встрепелулась, подкрутила в лампе фитиль. Подошла к двери и отбросила крючок.

Илья собрал всю волю, чтобы выглядеть нормально.

— Ну и заливает, шинель насквозь пробило, — он осторожно прошел к вешалке, разделся. Упершись в стену, с кряхтеньем стянул сапоги. — Засиделись с мужиками. Работали целый день, потом собрались, дела обсуждали разные. Уж прошу не сердчать, что припозднился.

— Ничего, — отозвалась Катерина. — Митрофанов уже хвастался работой. Баско, говорит, вышло. Летом красить хотят.

Она достает из печи еще горячий чайник и приглашает к столу Илью. В голове у него туман, и очертания комнаты расплываются в пространстве, но Илья замечает, как Катерина снимает с плеч платок, разворачивает его, чтобы укутаться всей шириной, и присаживается с краешка.

— Чай не пьешь — откуда сила? — пытается шутить Илья и льет в стакан дымчатую струйку заварки, ароматно пахнущую настоявшимся смородиновым листом.

Катерина подвигает к нему блюдечко с фруктовым, похожим на слежавшийся снег сахаром, кладет рядом два хлебных ломтика. Илья прихлебывает горячую,

слегка потемневшую жидкость и спохватывается — предлагает налить Катерине. Та соглашается, и Илья снова возвращается к начатому разговору.

— Ты уж прости, выпили мы с мужиками — неудобно было отказываться...

— Дело житейское, — ответила негромко Катерина, отливая чай в блюдечко. — Теперь везде один расчет — за любую работу вином или самогоном.

И невольно вспомнилось: «А Леша не пил. Даже когда в отпуск приезжал, не притронулся. Только курил много — всю ночь напролет. Как в последней пачке три штуки остались, так и лежат до сих пор». Она почувствовала, как что-то подступило к горлу, перехватило дыхание. Захотелось всплакнуть, но Катерина удержалась.

А Илья все говорил и говорил. Вспомнил Венькиных ребяташек. Побеспокоился, не надо ли торфу на зиму на тачке привезти — видел сегодня, как другие везли. Начал было рассказывать о своем детстве, но замаялся и остановился — не то получается. И вдруг решил.

— Посмотрел я, Катерина, сегодня, пораскинул мозгой — и надумал здесь остаться... Народ здесь хороший. Да и к вам с Николкой я уже привык. Всяко угол найдется.

— Да люди живут. Вербованные приезжали по весне, пятнадцать человек, так всем место нашлось. У Никандровича вон угол избы пустует, да и у нас — пожалуйста, целая комната за печкой. Если приглянется, так селитесь да живите.

— Я навсегда хочу, Катя.

— Всегда и живите, пока не наскучит.

Илья напрягся в ожидании, подался всем телом вперед.

— Не поняла ты. В общем... выходи за меня — чего

Уж теперь. И нам обоим легче, и Николка не сирота.
Я — серьезно.

Катерина вздрогнула, отшатнулась. Сразу даже не нашлась, что сказать. Только уголок платка прикусила.

— Так что, пойдешь?

Слезы, что задержались недавно в горле, покатались из глаз.

— Господи, да куда идти-то? Алешка ведь вернется... — она упала головой на стол.

Илья от неожиданности растерялся, потом озлился.

— Кто вернется, когда? Нет его, понимаешь, совсем нет, даже воротника от шубы не осталось...

— Не видел же никто, не видел... — она отодвинула ногой табуретку и, не отнимая платка от глаз, бросилась ничком на кровать...

«Ну вот, истерики еще не хватало!» Илья не знал, что ему делать: взять мешок и пойти на станцию или просто завалиться спать. Не будь сейчас дождя и непролазной грязи, он, пожалуй бы, уехал, но мокнуть ему не хотелось.

Подойдя к печи и закурив, Илья отметил про себя, что вспоминает Лешку Нечаева не как когда-то близкого человека, а как случайного попутчика, схавшего в одном вагоне и сошедшего с поезда сутки назад. Он пытался припомнить других погибших товарищей и понял, что они остались там, в прошлом. Их нет, а ему суждено жить. И надо думать — как?

Пробуждение было мучительным: ломало все тело, и на душе было гадко от вчерашнего. Помнилось, что, забравшись на печь, он думал что-то злое, нехорошее про Катерину, и боялся, не говорил ли все это вслух, как с ним иногда случалось после контузии.

Оставались вчерашние сомнения: не взять ли мешок да не уехать ли отсюда? Но куда? Нигде его не ждали

и, демобилизуясь, он загадывал дальнейшее только до Колдомы — заехать к Нечаевым, а там решить, что делать. Но решать оказалось не так просто.

— Дядь Иля, дядь Иля, — раздался голос Николки, — иди кушать.

— Иду, иду, — отозвался Илья и спрыгнул с печи. — А мама где?

— Ушла. А еду в печку поставила.

Илья размашисто умылся, достал чугунок с вареной очищенной картошкой, выложил ее в блюдо, досолил, подвинулся ближе к Николке и стал есть. Думы не составляли его, и ел он машинально, не обращая внимания что и как. Краем глаза заметил на подоконнике пачку маргарина, отрезал ложкой кусочек, положил его себе на картошку и продолжал жевать.

— Дядь Иля, а мне?

— Что тебе? — встрепенулся Илья.

Николка стоял рядом, зажав в кулачке ложку и переводя широко раскрытые черные глаза с Ильи на картошку и обратно.

— Что тебе? — переспросил Илья.

Мальчуган молча ткнул в расплзающееся пятнышко жира. У Ильи защемило сердце.

— Ой, малыш ты мой, прости, пожалуйста. Задумался я, как старый петух, — он снова зачерпнул ложкой маргарин, разминая, старательно перемешал его с картошкой и подвинул тарелку Николке. — Ешь на здоровье, расти большой...

А сам есть уже не мог. Смотрел на Николку, прикипая сердцем, и знал — останется здесь.

Маслова дома не оказалось.

— Сказал: «Пойду в сторону моря», — весело сообщила его старшая дочка Татьяна.

— С утра унесли черти, — мрачно добавила жена.

Терпение ее, как видно, лопнуло, и она, рослая и полная, сидела на крыше с тощей связкой дранки, которую Венька вдохновенно выдал за двадцать связок.

Мария латала прохудившиеся места, и белые яркие заплаты, посаженные наспех, кривились на обветренной крыше. Самое разумное было бы залезть на крышу и, помогая Марии, дожидаться Венькиного возвращения. Но душа ждала продолжения праздника. Жалованье, накопившееся к демобилизации за время службы, убыло еще не сильно, и день грядущий не страшил бывалого солдата...

Гусарствовал Илья без малого полтора месяца, до самых октябрьских праздников, отмечая великое счастье возвращения с войны. Это были дни воспоминаний о пройденных дорогах, друзьях... Нередко случалось, что похожая фамилия или чье-то лицо напоминали ему убитых парней из его взвода — тогда он рассказывал о них. А сам думал, что многие лица и фамилии уже стираются в памяти: с кем-то за недолгие часы от прихода пополнения до боя и поговорить как следует не довелось, кто-то просто забылся. Думал, что и он мог так же просто исчезнуть из памяти людской, и эти мысли причиняли страдание, и вино не приносило утешения.

Почти в каждом колдомском доме, где хоть чуток пахло мужским духом, Илья успел побывать и по популярности начал соперничать с Масловым. Удивительно было лишь терпение Катерины, которая относилась к постояльцу с прежней приветливостью и в пересудах о нем не участвовала. Правда, встречались они с Ильей не так уж часто, хотя и жили под одной крышей: Катерина на работе — Илья с Николкой возится, пилит ему что-нибудь, свистульки вырезает, Катерина с работы — Илья гостевать куда-нибудь.

Может, пир души его продолжался бы и дальше, не произойди с ним неприятность. По просьбе Катерины поехал он в город за покупками. Целый список необходимых вещей набрался: ведро, кастрюля, из еды что подвернется, и очень надо было Николке другие ботинки или, в крайнем случае, галошки на те, которые есть.

Базар был завален всякой всячиной. Не было лишь того, что нужно. Правда, с галошками для Николки Илье подвезло: сразу, зайдя на толкучку, купил совсем новые и как раз по мерке. И почти ведь совсем ушел он, да задержался возле ворот у столика, за которым черненький вертлявый человек с усиками предлагал желающим сыграть в угадайку. Игра была простой: желающему показывали три карты и среди них шестерку крестей, затем карты разлетались по столу, и надо было показать, где эта шестерка. Никакой сложности, просто острый глаз иметь надо.

Попробовал Илья раз — выиграл рубль. Во второй — ставка больше — три выиграл. А через пятнадцать минут он всю имеющуюся наличность спустил, и даже сам удивился — до чего же ловок оказался мазурик.

И что хуже всего, галошки в сетке, чтобы не мешали, на землю сбоку положил, и, пока он отыгрывался, к ним кто-то ноги и приделал, к галошкам-то.

А тут еще, как в издевку, торговый фургон подъехал, и ботиночки там детские — просто загляденье. Да нет ни гроша. Решился было Илья шинель с плеча кому-нибудь толкнуть, так с шинелями этими целый ряд стоит — не берет никто.

Вернулся Илья в Колдому мрачный. Николка у окна на лавочке сидит, гулять просится, а Катерина рядом шилом его ботиночки колет и иголкой швейной отставшую подошву к носку пришивает. Уж лучше бы шилом этим ему под сердце, чем видеть такое. Ушел

Илья молча к себе, бросился ничком на кровать, скрипнул зубами — и зарок дал: все, хватит — больше ни капли.

После праздников Ветров вышел на работу пильщиком на деревообрабатывающий завод, что раскинулся на берегу реки Судьбицы. Выбирать было не из чего: или сюда, или разнорабочим на строительство вторых путей, или еще что-нибудь вроде «круглое катать, плоское таскать». До войны Ветров специальности подходящей не приобрел, война тоже спосному гражданскому ремеслу не научила.

Работа попалась ему несложная: с утра до вечера стой у пилы, разделявая на бруски нужной толщины и длины желтые, пахнущие смолой и свежестью доски. Звонким стрекотом заходится пила, вгрызаясь в податливое дерево, и бруски один за другим валятся на пол — грузные, грубоватые заготовки для рам, дверей.

Тут же работает Маслов. Вообще-то его постоянное место в столярке — на сборке продукции, но после недавнего скандала перевели Веньку на разные работы, и теперь он полгода будет убирать мусор.

Пострадал же Венька из-за склада, вернее, из-за того, что склада не было, хотя разговоры о его строительстве шли с прошлого года. Всю готовую продукцию складывали под навес, кое-как прикрыв рулоном старого толя, раскатанным сверху. И поскольку с отправкой вовремя не всегда получалось, то рамы и двери лежали, бывало, по месяцу и два, открытые всем дождям и ветрам. Шли они к заказчикам, разумеется, пониженным сортом, и на зарплате, особенно столяров, это сказывалось. После очередного разговора о строительстве склада Маслов перешел к делу: как-то вечером, работая во вторую смену, пришел он в кабинет директора и переставил ему двери и окна: заменил на те,

что под навесом лежали. Самые худые выбрал: пусть, мол, на своей шкуре испытает — каково. В азарте начал заодно и пол перебирать, но не успел управиться и был захвачен утром прямо на месте преступления.

Окна и двери директору переставили снова, а Маслова перевели на нижеоплачиваемую работу. Моральным утешением ему было то, что склад строить-таки начали.

Работая рядом с Ильей, Венька помогал ему немудреными советами: какую деталь с какого бока ловчее начинать, куда готовые класть, чтобы столярка не шумела из-за простоев. Хитрости невелики, но когда ты на сдельщине, всякая мелочь важна. Минута к минуте — смотришь, и наберется за месяц на лишние штаны.

Вместе с Масловым перекуривает Илья у вкопанной в землю бочки, по-местному, в «брехаловке», где обсуждаются важнейшие вопросы внутренней и мировой политики, обдумывается свое житье-бытье. В любом споре теперь решающее слово за Масловым: ну-ка, с самим директором схватился — для колдомцев событие непривычное.

В соседнем с Ильей цехе работает Катерина, но смены у них разные, чтобы с Николкой по очереди сидеть. Только и встречаются за чаем да в выходные. Николка от дяди Ильи, когда тот дома, ни на шаг: то самокат вместе делают, то лук со стрелами, ружья, сабли из досок строгают — полпоселка вооружить можно. Тянется мальчонка к мужскому вниманию, и чувствует Илья, что от серьезного разговора Катерине не уйти.

Странное что-то творится в душе у Ильи: с каждым днем все сильнее и сильнее хочется ему видеть Катерину, быть с ней вместе, сделать для нее что-нибудь. Если она во вторую смену, обязательно дождется ее, чай-

ник согреет, поесть приготовит, и сидят они вместе при свече, разговаривают.

А последнее время ходит Илья встречать Катерину с работы. Возвращаются домой — Катерина зябко жмется к нему. И замирает у Ильи сердце: сдерживая дыхание, он осторожно ступает, локтем чувствуя свою спутницу. И хочется ему подхватить ее на руки и занести прямо в дом.

В выходной собрались у Митрофанова играть в подкидного. Пока ребята на веранде строят парход, вокруг стола садятся Илья с Катериной, супруги Масловы и Митрофанов с матерью. Жены у Федора нет: в сорок пятом, познакомившись с морским лейтенантом, уехала с ним в Ваенгу, оставив отцу семилетнего Петьку. Через месяц, правда, написала покаянное письмо: не разрешат ли Митрофановы пожить у них хотя бы месячишко. Видимо, лейтенант, по выражению Маслова, «поматросил и бросил». Но Федор решительно ответил на почтовой карточке, что у него не общежитие и видеть старую супружницу он не желает. На этом переписка оборвалась.

Для многих вдов, да даже и девок, переросших по причине военного времени ядреную молодость, Митрофанов был заманчивой и соблазнительной партией. Однако, хлебнув казацкой вольности, он пришел к убеждению, что настоящее счастье только в холостой жизни. Об этом Федор не прочь порассуждать и сейчас, тасуя карты и выпив, согласно уговору, после очередного проигрыша шестой стакан воды, в ответ на обычные в таких случаях замечания Марин: дескать, не везет в карты — в любви должно везти... Но у матери его другие планы, и восхваленное холостяцкого житья она пресекает в корне.

— Одна головня и в печи не горит, а две и в поле

не погаснут.— И переводит разговор на другое.— Цыгане к вам вчера не заходили?

— У нас так были,— отзывается радостно Мария.— Я десяток яиц отдала да шаль старую...

— Вот дура,— всплескивает руками Венька.— За что это?

— А не понимаешь, так не суйся... Сгадала мне, которая постарше, ну точно описала всю жизнь. Ничего не соврала. И наказала ждать каких-то хороших вестей: на одиннадцатый день, одиннадцатый месяц или даже одиннадцатый год — точно определить не могла. Просила пятидесятирублевую бумажку, чтобы уточнить, да не было у меня.

— Вот-вот,— тычет пальцем Венька.— Сходила бы, заняла. Ухнула бы и бумажка эта вслед за яйцами.

— Вообще-то они мастера глаза отводить,— замечает Федор.

А Макаровна задумчиво потирает переносье.

— Меня ведь мама-покойница учила на картах гадать. Я хорошо умела раскладывать...

— Раскинь на меня,— оживляется Мария.

— Попробую сейчас, вспомню... Колоду бы только надо новую, игранные-то врут часто.

Макаровна собирает карты в колоду, стучит ею о стол и три раза продевает в дверную ручку, словно очищает от праздного и суетного служения.

Марии по раскладке выходит веселая дорога через трефового короля, который останется при своем интересе, на что Венька ухмыляется и загадочно хмыкает.

— А мне...— просит Катерина.

Макаровна старательно перетасовывает карты и, таинственно бормоча про себя, снова раскладывает колоду по столу.

Неистребимая потребность в чем-то необычайном,

Винственном живет, видимо, в душе каждого человека. Потому и Катерина следит за Макаровной с непонятным репетом и интересом: какое окошечко в неведомую судьбу приоткроется сейчас? И хотя знает, что, если о-научному, то все это суеверие, обман, трепещет сердечко: что-то будет...

Два раза Макаровна сбивается. Даже садится ненадолго на собранную колоду, чтобы направить расшавшиеся карты на истинный путь. Но, сбившись в третий раз, в сердцах бросает:

— Ничего не получается. Путается какой-то казенный король, всем картам мешает.

Однако в глазах Макаровны лукавника, хотя ее никто не видит, Катерина тем более. Сразу почему-то мысли на Илью: он — казенный. А иначе кто?

После гаданья собираются пить чай. Макаровна лопочет на кухне, обряжает самовар и громко зовет а помощь Ветрова. Когда Илья приходит, она громко просит достать с шестка какую-то коробку, а сама тыет его в бок и нашептывает:

— Не томи бабу-то, не томи. Больно робкий. Обищи покрепче, дак и решите все. Куда теперь деться, раз дним домом живете?

После чаю расходятся. Масловы грузят семейство в ве просторные коляски и заворачивают к магазину, а Илья с Катериной берут за руки Николку и возвращаются домой.

Дорогой Илья показывает Николке на причудливую орягу.

— Гляди-ко, вон собачка лежит и уши торчком.

— Знаю,— уверенно отвечает тот.— Мы когда еще одили, она тоже лежала. Почему-то только не встает.

Переглядываются Илья с Катериной: смекалист, него не скажешь...

Поженились они в начале декабря. Все было просто и тихо: расписались в поселковой конторе, вернулись домой. Только Катерина платье новое надела — сама сшила по этому случаю. Из штапеля, что привез Илья. И еще комнату, где Илья жил, спальней сделали.

Забот у Ильи прибавилось. Посидеть где с мужиками вечером или выходной, поваляться утром в кровати подольше, если на работу не в первую смену, — такое он мог позволить себе теперь не часто. Начала появляться семейная хватка, стали возникать желания и дом обшить тесом сверху донизу, чтобы было тепло и нарядно, и мебелишку новую приобрести, тот же шифоньер с зеркалом — другой вид квартира обретет.

Выпивать Илья стал бояться. Ему еще при выписке из госпиталя врач сказал, что нервная система у него подпорчена и что если он будет пить, дети могут родиться слабоумными, а не пить — все обойдется. Веньке, понятное дело, он об этом сказать не мог, хотя тот и сердился на него за измену товариществу и еще больше укреплялся во мнении, что все зло на земле — от баб.

По дому Илья помогал жене во всем. Это быстро заметили в поселке и заперешептывались... Непривычно здесь было, чтоб муж вдруг женской работой занимался вроде стирки или мытья полов.

Как-то Маслов застал Илью с закатанными по колено брюками и с половой тряпкой.

— А Катерина где? — удивился он.

— Стирала сегодня, так к Митрофановым пошла передохнуть, — объяснил Илья.

— Чудное дело, — хмыкнул Венька. — Откуда, думаю, у моей новая мода завелась — с утра до вечера одну арию поет: тут помоги, там подсоби, то сделай, то подай — умучалась, видишь ли, она...

— Пятерых смастерил — так помогай, — засмеялся Илья. — Одной ей, конечно, тяжело...

— А как же наши бабки по восемь-десять человек выхаживали, в поле работали и дома все делать успевали, а? — взвился Маслов. — Мужиков с пеленками, чай, возиться не заставляли — не то время было. Это сейчас — равноправие. А я так полагаю: мужику дан топор, а бабе — квашня, и смешивать это ни к чему.

— Ох, и злой ты сегодня, Венька, — качнул головой Илья. — Жене своей помочь, время коли позволяет, зазорного ничего нету.

— Для ихнего брата хоть в ленешку расшибись — все одно не оценят, понятие не то. Чего вот глупая баба с утра взъелась? Половицы, видишь ли, мешают, скрипят очень. Где бы отдохнуть — тут весь выходной в грязи провозишься...

— Погоди, приду — обмозгуем, — примирительно сказал Илья. — Я как-то занимался этим делом.

Венька, посвистывая, пошел со двора, а Илья наскоро собрал остатки воды, протер пол еще раз насухо и засобирался на подмогу.

Вернулась Катерина. Спросила, далеко ли он собрался, и попросила долго не задерживаться: надо еще за светло на реку съездить выполоскать выстиранное.

Илья пообещал часа через два вернуться и ушел. А Катерина достала чистые половики, настелила по горнице свежие, наполнившие дом уютom пеструшки, сменила скатерть на столе, занавески на окнах. Посидела, подумала — чего зря время терять? Выволокла из сеней санки, погрузила обе корзины — и на реку.

Вокруг проруби было тесновато. Катерина приткнулась с краю, вывалила белье на лед, зашлепала рубашкой по воде. Сначала руки обожгло словно кипятком, потом притерпелось. Только вот когда выжимать, мерз-

нут очень. Так и хочется варежки натянуть, но тогда пропащее дело: дополоскать сил не хватит.

Не успела Катерина первую корзину дополоскать — Илья подоспел. Перекурил, потом потянул санки обратно домой — решил, что пока Катерина остатки полощет, он успеет развесить это белье на просушку. Но дорогой верхние рубахи схватило морозцем, и пришлось повозиться, пристегивая к веревке негнущуюся ткань. Да еще неожиданно из стены выскочил гвоздь, и белье упало в снег. Надо было заново все переделывать. Только закончил, слышит — снег скрипит. Оглянулся — Катерина. Заругался было: подождала бы, чем такую тяжесть на руках тащить. А она в ответ лишь слабо отмахнулась.

— Завтра поутру сделаю. Не могу сегодня...

А по лицу застывшие полосы от слез.

— Заболела?

Тихо покачала головой.

— Нет, не с чего вроде.

Прошла в избу, разделась, поуспокоилась немного и лишь тогда заговорила:

— В Залесье беда случилась: Нюра Антонова, продавщица тамошняя, утопилась. Мужики с баграми искать приходили. На мужа ей похоронка еще в сорок третьем пришла, она и вышла по второму разу. На одной неделе с нами расписывалась. Мужа-то у ней Костей звали, а этот второй — Леня, тоже из ихней деревни. Только он с детства инвалид: ногу ему лошадью придавило, она и усохла. Он за Нюркой еще в школе пробовал ухаживать, да без пользы все. А как похоронка пришла, снова, видно, занадеемся. Мужик-то хороший — тихий такой, покорный, ласковый. Дождался своего: поженились они. Бабы еще смеялись — весь декабрь вдовий: пар пять, наверно, таких тогда расписа-

сь. Жить вроде хорошо они начали, а сегодня днем
взял и явился. Он контужен был, потом в плену
кался — и вернулся. Рассказывали, прошел прямо
мой, поздоровался с нею, с Леней. За стол вместе
ли, Нюра огурчиков принесла, потом вышла за де-
вню — и в прорубь. Господи, ужас какой!

Илья не знал, что сказать, молчал, положив жене
ку на плечо. Потом стал собирать ужин, но Катерина
столу не пошла.

— Лягу лучше. Знобит меня что-то...

Около полуночи у нее начался бред. Металась по
ровати растрепанная, вскрикивала, звала, вытянув
уки:

— Леша, Лешенька!.. Прости, что я при тебе живом
бья забыла, — и с ненавистью отталкивала Илью. —
ставь, оставь нас, уйди! Это ты, ты во всем виноват...

Потом стихла, враз обессилев, и лишь изредка вы-
кинула что-то несвязное. Илья сидел рядом, руками
гудил разгоревшиеся щеки, поправлял одеяло, пода-
ал в кружке сладкий, крепкий до черноты чай.

К утру температура спала, вернулось сознание.
Илья сбегал за Никандровичем. Тот долго осматривал
ельную, многозначительно кивая головой. Определил
оспаление легких и нервное потрясение. Прописал по-
й, усиленное питание, заполнил рецепты на лекарство.

— Пенициллин бы нужен. Да где его возьмешь сей-
ас?

— Найду, — твердо сказал Илья, — только выпиши.
Забрав рецепты, он начал поспешно собираться.
ходил к Макаровне, попросил приглядеть за больной
за Николкой, а сам поехал в область.

Вернулся на другой день замерзший, в одном пид-
ачке — пришлось продать полушубок, — но привез все,
го требовалось.

Никандрович тут же сделал укол, успокоил:

— Выправится. Через недельку-две здорова будет.

Уже на третьей сутки у Катерины появился аппетит, утихли хрипы при дыхании, уменьшилась температура. Виновато посмотрев на Илью, она несмело улыбнулась.

— Теперь выживу, наверно? Две ночи словно душил кто-то, все кошмары виделось... Ты не сердись — очень плохо было, — и рывком прижала к щеке протянутую руку. — Не сердись... — помолчала, потом кивнула головой на стену, где в рамочке висела фотография Алексея. — Там...

— Что — там? — не понял Илья.

— Лешу пока убери — в комод спрячь. Не надо, чтобы смотрел. Теперь нам жить. А как гляну на него, давит сердце.

Илья промолчал. Тихо отошел к окну, глянул поверх стальных узоров. Медленно кружась, падали снежинки, обещая потепление. Потом подошел к жене, поправил под головой подушку, подоткнул одеяло.

— Спи...

Катерина покорно закрыла глаза. И только тогда Илья подался к стене и тихо снял небольшой — в ладонь шириной — портрет, глядя на молодого и красивого парня, почти совсем не похожего на того Алексея, которого знал Илья. Похожим был только подбородок — резкий, без ямочки посередине, что по народной примете сулит любовь и верность до смерти.

«Вот такие дела, друже... Не осуждай... Не нами решено, кому жить. Прости, что вспоминаю редко. За сына будь спокоен: сберегу, вырастет», — мысленно обратился Илья к другу, и душа его тихо заныла, опечаленная памятью о тех, с кем приходилось встречаться на фронтовых дорогах и кто уже давно был прахом земным.

Он не думал о ком-нибудь отдельно — все стали чем-

го единым, и настоявшаяся слеза медленно поползла по щеке, за ней уже быстрее еще одна и еще... Чтобы отвлечься, немного ослабить боль, Илья принялся считать вслух: семь... двадцать. А память вспышками выхватывала из прошлого какие-то события, лица друзей, и он явственно слышал их голоса, но слов разобрать не мог.

Что-то пролепетал во сне Николка. Илья очнулся и осторожно убрал портрет под белье в нижний ящик комода.

2

Падал и снова таял снег, чередой менялись зимы и весны. Годы шли.

Завтра — первое сентября, Николке и Татьянке в школу. А у родителей других хлопот по горло.

Масловым дали квартиру, поскольку семья их самая большая в поселке, а домик, собственность завода, очень уж мал. Накануне вечером получен ордер, и сегодня с утра суматоха и неразбериха. Увязываются, пакуются ящики — все впопыхах, торопливо: дали квартиру — бери быстрее, пока другие не заняли.

Илья с Катериной помогают собираться. Уже затолкнули на машину комод и стол. Венька с обвязанной головой и забинтованной рукой хлопочет больше всех, но как-то бестолково: все валится у него из рук, и голова гудит тихим звоном. А виноват сам.

Третьего дня сидел он у окна, читал журнал «Огонек» и следил, чтобы не сбежал с электроплитки суп. Зачитался до того, что не заметил, как на дворе появилась комиссия в составе трех человек из поселкового совета и с ними Никандрович. В душе все оборвалось: не иначе как проверка, правильно ли пользуются электричеством. Плитка же была включена в патрон «жу-

лик»—обычного вида такой, с дырочками, что можно пользоваться как розеткой. Улика явная, от штрафа не отвертеться. Венька решительно вскочил на табурет и резанул ножом—дескать, абажур хочу повесить, шнур нарастить. В то же мгновение мощная сила сбросила его с табуретки. Головой он ударился о край стола, а рукой опрокинул плитку вместе с супом, и на несколько минут его вышибло из сознания.

Со двора уже вбежала Мария. Наспех засунула плитку в печь, потом принялась хлопотать вокруг мужа. Комиссия тем временем вошла в дом. Все начали проявлять участие к пострадавшему, а Никандрович принялся разорванной простыней перебинтовывать пробитую Венькину голову и смазывать хозяйственным мылом, единственным подручным снадобьем, ошпаренную руку.

Венька все слышал, но прикидывался, что без сознания. Пытался уловить, о чем речь. Когда уловил, что это решающая проверка домашних условий, давать ему квартиру или нет, сделал вид еще более жалобный и слабым жестом обвел вокруг: смотрите, мол, сами—двадцать квадратных метров вместе с кухней.

Сейчас он переезжает. И барахлишка вроде никакого—комод да две кровати, а грузятся добрых полчаса.

У крыльца на сундуке и свертках уже сидит жена Пантюхина из цеха сушки, который намеревается занять прежнее жилье Масловых. Сам же Пантюхин помогает грузиться: давай, мол, уезжайте скорее.

Давно бы пора трогаться, а Мария все возится с разными банками, кастрюлями, ведрами, каких, кажется, и не бывало сроду. Венька ругается, но поздно: во двор въезжает телега со скарбом, на которой сидит обладатель законного ордера на Венькино жилье—рабочий из сплавконторы, а рядом шагает Никандрович.

Венька машет перебинтованной рукой и уезжает подалее от греха—кому надо, тот разберется. На стороне сплавщика—закон, ордер у него на руках. Но и Пантюхину жить негде: четвертый год угол снимает с двумя ребяташками. На душе неловко: Венька сам подговорил Пантюхина занять его избушку, сам и подвел—провозился чуть ли не час. А поставь Пантюхин вещи да повесь замок на дверь—так бы и остался там жить. Пока суд да дело, пока рядятся, заседают, приговаривают к выселению, приходят раза три с приговором, человек бы уже прижился, и если станут выселять, то не на улицу—всяко какую хибарку найдут. Теперь все пропало: снимет Никандрович дверь с петель, запрет ее в сарае, посидит Пантюхини ночку, да и отступится.

Но вид новой квартиры заставляет Веньку забыть огорчения. Две комнаты в деревянном двухэтажном доме, кухня, кладовка—все отдельно, все новое, еще пахнущее смолой и краской—после старой избушки кажутся княжескими хоромами.

Разгружаются куда проворнее, чем погружались, хотя таскать вещи и приходится на второй этаж. Илья спешит. Он уже полгода работает шофером, и сегодня до конца рабочего дня ему еще надо успеть на дальний лесопункт. Маслова он перевез попутно.

Выгружена последняя табуретка. Илья сажает Катерину в кабину—домой подбросить и дает газу. А Масловы заносят в дом остатки пожитков и садятся передохнуть. Но разве тут усидишь? И еще раз внимательно оглядев новую квартиру, они начинают все расставлять по местам. Довольны оба—слов нет! Кажется им, что с получением жилья начнется у них новая жизнь, несравненно лучшая.

«Маслята» уже бегают во дворе, по сарайкам лазят. Одна Татьяна дома, устроилась в уголке, безделушки

свои перебирает — пасмурная такая, словно хочет о чем-то спросить, но не осмеливается. Вспомнила тут Мария, что девочке завтра в школу, а платье не готово. Заметалась по комнатам: то ли к Митрофановым бежать — у них швейная машина есть, то ли у кого денег перехватить и в магазине взять готовое платье — на днях привезли, видела. Венька тоже расстроился.

Решилась наконец Мария: села и стала на рукава платье дошивать. Не так уж много и осталось: рукава вшить с воротничком да петельки переделать. Приналежь — за вечер можно успеть.

Дочка заулыбалась, повеселела, ласково прижалась к плечу матери. И отец тем временем свое рвение проявил: разжег утюг — полкомнаты дыму напустил, размахивая да раздувая, и собственноручно фартук новый прогладил, потом за цветами убежал. Что ни говори, у дочери праздник! Обидишь в такой день — всю жизнь не забудется.

А у Ветровых тихо. Николка сидит за столом, еще раз перебирая в портфеле пенал с карандашами, азбуку, букварь, тетради, проверяя, все ли готово к занятиям. Рядом крутится трехгодовалый братишка Лешка.

— Мама, у меня чернильницы нету! — испуганно кричит Николка. — Ты обещала купить непроливашку, а не купила...

Мать выглядывает из-за печки, где она моет голову.

— Вы сначала карандашом писать будете, а чернильницу отец из командировки привезет.

Николка успокаивается. Он сам знает, что чернильница пока не нужна. Тщательно заперев портфель, ставит его рядом со стулом, на котором висит новый в серую полоску костюм — тоже к школе.

Кто-то громко стучит в дверь. Николка с Лешкой персгонки устремляются навстречу вошедшей в комнату Макаровне.

— Что, Катя, сам-то дома?— громко спрашивает она и проходит к столу.

— В командировку послали, завтра к обеду сулил-ся,— отзывается Катерина, расчесывая мокрые, вразставшие жиденькими волосы.— Не жилось спокойно — выучился на шофера. Мотайся теперь...

— Не подсобит нам дровишки привезти? Федор вчера выхлопотал, так скорей вывезти — и душа на месте.

— Привезет, чего там, невелики труды. Присаживайся, не май поги.

— Сахару просили, так Федор привез — вот три килограмма.

Макаровна выкладывает на столешницу два больших кулька и две ровненькие пачки в синей бумаге, потом весело подмигивает Николке и сует им с Лешкой по шоколадному прянику. Лешка тут же начинает уписывать подарок, а Николка аккуратно прячет пряник в портфель — в школу возьмет.

— Спасибо большое.— Катерина заходит в горшницу и убирает свертки в буфет.— Второй месяц на конфетах живем — накладно очень...

— Только деньгам перевод, — соглашается Макаровна.— Федору в этот раз больно много наказали.— Два мешка из вагона вытащил... Я поначалу ахнула: где, думаю, денег столько взял. А как посмотрела, домой сверточков пять всего принес. Остальное прямо на перроне роздал. Илья просил килограммов шесть привезти, да не получилось в этот раз. После как-нибудь...

С продуктами в Колдome туго и, изловчившись, мужики начали ездить отовариваться в Москву. Ездили больше железнодорожники-движенцы, связисты — им

дважды в год билеты бесплатные положены. Ездил конечно, и другие, но редко: дорога дороговата. Многие уезжали тихо, и за это на них особенно не сердились, понимали, что даже одной семье про запас набрать пуда два везти надо: и масла, и сахару, и мяса, и тушенки. А еще все найти надо, да и с ношей по Москве таскаться. Поэтому, если кому что привезут, на том и спасибо.

Митрофанов был один из немногих, кто никогда не отказывал в просьбах и ездил не таясь.

— Ты уж извини, Катя, что не полностью ваш заказ выполнил. Вот сдача.— Макаровна протягивает аккуратно сложенные бумажки и мелочь.

— Пока и этого хватит. Спасибо, что поддержали,— благодарит Катерина.— Завтра Илья приедет—я напомним о дровах.

— Ладно, милая, ладно. Прوماхнулись мы в этот год,— вздыхает Макаровна,— не запаслись дровами раньше.

— Как приедет, сразу скажу,— заверяет еще раз Катерина.— Завтра с утра Николку в школу отведу и зайду в гараж...

— Забыла ведь я,— спохватывается Макаровна,— из памяти просто выкинуло. В школу ведь Николке... Буквы-то хоть знаешь, кавалер?

— Знаю,— кивает Николка.

Он с готовностью достает из портфеля разрезанную азбуку, вытаскивает из кармашков нужные буквы и раскладывает их на столе. Слово «бабушка» у него получается сразу. А на слове «Митрофанова» он задерживается, отыскивая пузатую, похожую на крендель букву «ф». Но найдя ее, быстро заканчивает складывать и фамилию Макаровны, гордо поглядывая на нее.

Бабка пристально всматривается.

— Верно... Митрофанова,— читает она.

Подоспевший Лешка также внимательно разглядывает ровный ряд белых квадратиков и, улучив момент, ловко смахивает их на пол.

— Да стукни ты ему хорошенько, пусть не озорничает,— сердится Катерина.

— Нельзя,— отвечает Николка.— Он ведь маленький еще, не понимает.

— Гляди, какой рассудительный,— умиляется Макаровна.— Жалеет братка. А столько ведь доставалось, пока нянчился. Забыл, поди?

Катерина спохватывается:

— Давайте чай пить.

В шесть рук собирают на стол чашки, блюда, баранки, сахар, рассаживаются кружком. Самовар — в центре, он легонько фыркает, словно тоже участвует в разговоре.

— Несусь домой прямо по лужам, думаю, закричится у меня парень,— вспоминает Катерина.— Столько ведь времени не кормленный. Открываю дверь — батюшки-светы! Зыбка на полу опрокинутая, все хозяйство вывалилось, а оба брательника лежат голова к голове и спят. Я малюго на руки хватаю — он как клещ впивается и сосет вздох, а Николка жалостно так смотрит и говорит: «Я его качал-качал, а он кричит. Я его сильно качал — он кричит. Потом люлька упала, он больше не стал кричать. Хотел положить его обратно, да он уснул...» А где там положить обратно, сам вполовину кровати...

Лешка, застыв с баранкой в кулачке, удивленно пялит глаза: чего это про него говорят?

— Ну-ка, Николка, скажи «рыба» — лукаво улыбается Макаровна, зная, что мальчику долго не давалась коварная буква «р».

Но Николку не проведешь. Хитро прищурившись, он отчетливо произносит:

— Селедка.

Все смеются. Всем весело и хорошо. Так и не заметили, как вечер прошел.

Утром Николка проснулся раньше всех, наскоро оделся и побежал в школу. Его одноклассники уже окончили первый класс, но Николку в прошлую осень учиться не взяли: день рождения у него был в октябре.

Школа была закрыта. Николка подергал дверь и чуть не заплакал: вдруг опять не возьмут. Но, заглянув в окна, успокоился — еще никто не пришел: рано.

Походил Николка вокруг школы, потом зашел в парк на станцию, сел на скамеечку. Рядом голуби гуляют, сизые, переливчатые, ходят по траве и зернышки ищут. Вспомнил Николка, что у него булка в портфеле — мать на завтрак положила и пряник есть. Стал потихоньку кусочки отщипывать и птицам бросать. Тут еще голуби подлетели, толкаются, клюют крошки, а между ними, откуда ни возьмись, стайка воробьев — чирикают, суетятся. Пока голубь примеряется, как бы ему крошку ухватить, ее уже нет: какой-нибудь воробей утащил. Стал Николка кусочки на выбор бросать. Заметил одного голубя с больной ногой и все старался ему кусочек подкинуть, да редко удавалось: разбойники-воробьи прямо из-под носу тащат. Даже на лету стали перехватывать: подкинут крошку клювом, чтобы не упала, и тут же схватят. Рассердился Николка, бросил в сердцах остатки булки: нате, делите сами! Страхнул крошки с костюмчика и к школе пошел.

А там уже праздник начался: ребята с цветами стоят в строю и слушают, что директор говорит. Посмотрел Николка, заметил Таню Маслову и рядом с ней встал.

Но директор уже кончил говорить. Учительница велела всем взяться за руки и парами повела в класс. Там рассадилась по партам. Николке с Ташей досталась третья парта рядом с окном.

В школе Николке понравилось. На первом уроке ребятам объяснили, что надо носить с собой в школу и как они должны вести себя на уроках и во время перемены. Потом им показали, как надо писать палочки, а еще учительница читала сказки. А когда их отпустили домой, подъехал на машине Илья.

Распахнув дверцу, он пригласил всех ребят:

— Садитесь, именинники, в кузов. Покатаю...

Вперегонки все карабкались через борт, расселись на скамейки и поехали за поселок, аж до самой Медвежьей запаны, куда взрослые за грибами ходят. Потом вернулись обратно к школе.

— Это вам подарок на первое сентября,— сказал Илья.

А вечером, после многочисленных рассказов о первом школьном дне, отец играл с Николкой в шахматы. К игре этой Илья пристрастился еще в детстве и играл неплохо. В армии он сражался на равных с самым адъютантом командира полка Смидовичем, который имел категорию и даже печатал перед войной в разных журналах задачки на шахматные темы. Но в Колдومه напарника у Ильи не было, вот и выучил Николку. И играл теперь с ним всерьез, хотя и давал ему каждый раз фору — одну фигуру.

Сыграв вничью, Николка снова принялся рассказывать про школу. Но в положенные девять часов улегся беспрекословно спать. Только спросил у отца, покатают ли их завтра. Илья пообещал.

На следующий день на уроках Николка сидел важный, а на переменах заводил со всеми разговор о грузо-

виках, о том, что такое карбюратор, почему бывает тормоз ножной и еще ручной. Его слушали со вниманием машины в Колдومه были пока в диковинку.

В этот день Николке надарили столько всякой всячины — перышки разные, выжигательное стеклышко, свистки, рыболовные крючки и даже рогатку. Сначала он радовался подаркам, потом испугался: куда же столько. Но отказываться не решился: вдруг ребята подумают, что их не возьмут покататься.

После уроков первый класс почти в полном составе остался в школьном саду ждать Николкиного отца. Прошел час, другой... Уже прозвенел звонок на вторую смену, а машины все не было. Расстроенный Николка то и дело бегал к гаражу, но отец там не появлялся.

Сначала Николка возвращался с радостными обещаниями:

— Кажется, едет. Я пыль за переездом видел. И склад уже открыли. Папа туда обычно краску привозит.

Но с каждым разом его обещания становились все унылее и унылее, а потом он и вовсе умолк, только с надеждой вскидывался при каждом неожиданном шуме. Число первоклассников в школьном саду все уменьшалось и уменьшалось. И наконец вместе с Николкой осталась только Таня Маслова.

Стыдясь подступавших слез, Николка стал прогонять домой и ее, но Таня не слушалась. Тогда Николка налетел на нее коршуном и несколько раз ударил портфелем. Глаза девочки повлажнели, и она тихо побрела прочь.

Николке вдруг стало жалко ее. Он побежал следом. Перед домом догнал Таню и сунул ей в кармашек фартука чинилку для карандашей, какая во всем классе бы-

ла только у него и еще у одного мальчика, а сам побежал дальше.

Домой Николка прибел уже в сумерках. Отец сидел за столом и ужинал.

— Что-то долго ты сегодня учился, братец,— сказал он весело.

— Тебя ждал,— ответил Николка и всхлипнул.

Илья посерьезнел.

— Ты уж извини, брат, что я задержался. А твоих друзей я катать не могу. Начальник запретил. Машина-то бортовая. Долго ли до беды: вдруг кто вывалится. В кабине могу прокатить тебя...

— Не надо... в кабине,— отказался Николка.

Ему стало еще горше и обиднее.

Наутро он наотрез отказался идти в школу. Родители уговаривали, грозились, обещали выпороть — ничего не помогало. Все утро он просидел дома, а в самом конце четвертого урока с торжественным видом, сидя рядом с отцом, подъехал к школе. Тридцать первоклашек с гомоном уселись на расстеленный в кузове брезент и уехали так далеко от поселка, что даже заводской железной трубы не стало видно.

Во второе воскресенье сентября, сразу после полудня, Маслов справлял новоселье. Он любил гостей, любил веселье, шумные компании. Имей Венька материальные возможности — наверное, устраивал бы застолье еженедельно. А уж пропустить такой повод, как новоселье, считал смертельным грехом. Стол был накрыт по-летнему богато: тут и свежая отварная картошка, и зеленый лук, огурцы, жареные грибы и даже блюдо свежесоленных рыжиков. Гости, что смогли, добавили к хозяйскому угощению. В Колдоме

так повелось с войны: в гости не стеснялись приходить со своим, вносили посильную лепту в общий котел.

Как водится, начинается с поздравлений. Венька смущенно отмахивается.

— Мать честная, до сих пор не могу поверить, что переехал...

Его поощрительно хлопают по плечу и, осмотрев комнаты в сопровождении Марии, рассаживаются за стол. И снова дружно поздравляют Марию и Веньку.

— Пусть ваша семейная жизнь счастливо катится по рельсам и никогда с них не сходит,— желает Митрофанов.

Его поддерживают другие. Но любая радость недолговечна, подпирают ее заботы и горести.

Первым высказывает свое наболевшее Никандрович:

— Хоть у тебя, парень, и праздник, а я ругаться буду.

— Ругайся,— добродушно соглашается Венька.— Вот петух на заборе тоже орет...

— Нет, ты скажи, зачем набаламутил людей?

— Никого я не баламутил. Просто пожалел: тридцать пять годов мужику, меня старше, а до сих пор угла своего нет.

— Подойдет очередь — дадут.

— Конечно, через двадцать пять лет — как раз на пенсию пора выходить будет...

— Строить бы побольше надо,— вступает в разговор Илья.— Ну куда годится — на такой поселок за пять лет два дома поставили...

Разговор сразу становится общим. Как не говорить, если тема разговора выстрадана и до боли знакома. Пусть у тебя и все ладно, так у соседа в таком же деле неурядицы — и неловко на душе, неудобно за

вое благополучие. Если на деле не помочь, так хоть оговорить, на словах посочувствовать — все легче.

Никандрович некоторое время молчит, давая возможность каждому высказаться, потом снова привлекает к себе внимание.

— Хорошо говорить мы все мастера — грамотные, все в школе учились. А как в деле? Вот ты, Вениамин, сколько рам и дверей для домов в месяц делаешь?

— Я? — растерянно переспрашивает Венька и, чувствуя какой-то подвох, сгоряча рубит ладонью по столу. — Да если бы все, как я, работали, никаких бы проблем не возникало. Меньше ста двадцати процентов в месяц у меня не бывало еще... И, должен заметить, у меня не искоробит, не перекосит...

— Ладно, а сто пятьдесят процентов мог бы давать?

— Сто пятьдесят? — Венька задумывается, прикидывает в уме. — Мог бы. А зачем?

— Что и требовалось доказать, — разводит руками Никандрович.

— Погоди, погоди, — останавливает его Маслов, — не егози. Считать сейчас все мастаки — складывать да умножать научены. Сто двадцать — это по теперешним расценкам, а если прошлогодние взять, те же сто пятьдесят и будут.

— Но ведь больше можешь, сам сказал.

— Ты послушай. Нас на сборке четверо, я — самый здоровый, только нога прострелена. Полторы нормы смогу, сменщик тоже, а вот Кирилловичу за нами не поспеть, и напарнику его. Ведь что раньше: у нас сто пятьдесят процентов выходило, у них — по сто двадцать. Расценки — раз и срезали. Теперь у нас по сто двадцать, а у них только-только за сто переползает. Можно еще подналечь, так ведь думать надо: расценки сре-

жут — старикам на прокорм деньгу не заработать. Да и я не буду вечно воробышком прыгать. Недалеко за Кирилловичем иду, скоро догоню. С пылу-то с жару выгоню сейчас норму, а через десять лет и на половину сил не хватит.

— Там техника новая подоспеет, легче будет...

— Подоспеет либо нет. И там все будет обсчитано, не беспокойся. Конечно, дали бы мне гарантию, что какая бы выработка ни была, нормы не изменятся — я тогда бы годика три-четыре повкалывал, пока силушка есть. Лишние деньги не помешают. А заставь постоянно на пределе сил работать — и лошадь сдохнет, и трактор сломается до срока.

— Нет, неправильно ты говоришь, — возражает Никандрович, но дальше на эту тему распространяться не желает.

Да и замечают они, что остальные уже давно толкуют о погоде, ребятишках, видах на урожай...

Никандрович с аппетитом хрупает свежепросольный огурчик, угощает и Веньку. Огурцы — предмет его особой гордости; во всей Колдоме выращивает их только он, остальные ездят покупать для засолки на сторону. Справедливости ради надо сказать, что колдомцы, имея каждый свой огород, особенно копать в земле и мудрить не любят. Сажают в основном картошку, ну еще лук да капусту. Прочие же овощи — свекла, брюква, репа, петрушка, помидоры, редиска почетом у них не пользуются, хотя расти бы вполне могли. Не видят колдомцы в них практического смысла. Вот укроп, к примеру, для засолки огурцов необходим, так для этого его и с базара привезти можно. В суп же или в картошку его добавлять, как другие советуют, колдомцы за баловство считают: навару с укропа никакого, один запах...

Лишь Никандрович пытался изменить общественное мнение. На его огороде, под стекольными парниковыми рамами, уже к майским праздникам появлялись редиска, сочные перья лука и нежная салатная зелень. Приходили гости, угощались, хвалили, а все равно ни редису, ни петрушку у себя разводить не хотели. А уж ревеня и экзотический артишок, выращенные Никандровичем по огородной книге, и ценителя не нашли. Даже жена Никандровича, раз попробовав, к ним больше не притрагивалась. Так и пришлось ему в одиночку есть две трехлитровые банки компота из ревеня. Да и грядку с артишоками, отведав их мясистые головки, он на следующий год перекопал под чеснок.

Но теперь в огородных делах Никандрович приобрел союзника — Илью Ветрова. Сразу же, как Илья стал работать на машине, Никандрович пригласил его к себе и вдосталь наугощал сушеной, квашеной, маринованной и соленой продукцией, какой, несмотря на начало весны, в погребе оказалось предостаточно.

Интерес Никандровича к Илье был не бескорыстен: все-таки шофер, может подвезти для огорода что потребуется. Да и надоело Никандровичу быть белой вороной среди земляков — ни обменяться мнениями, ни сравнить урожай не с кем.

Илья за огородную идею ухватился с жаром, даже успел по весне заложить небольшой, на одну раму парничок. И сейчас они с Никандровичем горячо обсуждают, каковы удались у Ильи огурцы и чем их лучше подкармливать, чтобы не желтели рано.

Мария, хоть и говорит с Катериной, вполуха слушает разговор огородников и толкает мужа в бок.

— Давай-ка, присоединяйся к мужикам, займись тоже огородом. Вместе с Ильей и будете возиться по соседству, все польза дому.

— Верно, верно,— поддакивает Никандрович.— А мы с Ильей поможем, коли надо чего...

Венька охотно соглашается, порывается тут же строить планы переустройства огорода, говорит, что хорошо бы вдоль по изгороди высадить малину, смородину и крыжовник, а между грядками — яблони и вишни. Но Митрофанов снова провозглашает тост за новоселье, и Венькин запал пропадает.

Теперь он начинает с Митрофановым разговор о том, как будет решаться германский вопрос — одна страна будет или две разные. Однако Митрофанов сегодня политик неважный: он со смены, ночь не спал — время от времени клюет носом. Пора расходиться.

Венька смотрит на Илью: задержись, мол, поддержи компанию, но у того свои заботы — пора начинать копать картошку, просушивать ее, пока стоят погожие деньки. И Маслов остается наедине со своими думами.

Ветровы по пути заходят к Макаровне за Лешкой, потом дома наскоро переодеваются — и на огород. Хотел Илья Николку с собой прихватить, пусть с детства к труду приучается. Да и помощь какую-то может оказать: за лопатой клубни убирать работа для его возраста посильная. Но Николки поблизости нет, приходится идти без него.

Николка в это время вместе с Петькой Митрофановым и еще десятком друзей находится в «партизанском штабе», который они тайно от взрослых устроили в старом деревянном пакгаузе — в подвале под настилом. Петька у ребят за командира, а Николка — разведчик. Наигравшись в партизаны, ребята режутся здесь в лото, читают сказки и книги о шпионах. Задумали они также достать щенка овчарки, чтобы всем вместе выкормить его и выучить, а потом передать на границу. Щенок, правда, уже есть: дядя Веня привез его своим

ребятишкам и назвал Ермаком. Но, во-первых, если взять Ермака, то тогда надо будет пускать в штаб и Таньку Маслову, а это дело совсем не девчоночье, и, во-вторых, Ермак, наверное, все же не настоящая овчарка. Сначала уши у него стояли, но потом опустились, стали лопухами болтаться. Дядя Веня говорит, что это с голодухи — такой собаке мясо давать надо, и обещает привязать к ушам спички, чтобы оставались стоячими.

Чутье у Ермака есть. Давеча Николку по следу нашел и не побоялся даже через железную дорогу перейти и под пакгауз залезть. Наверное, все-таки быть ему зачисленным в отряд.

В штаб Николка приходит охотнее, чем в школу. Из дому он притащил сюда старый фонарь, и теперь в штабе светло.

Но недолго пришлось играть здесь ребятам. В одну из ночей пакгауз сгорел, и весь отряд в тот же день увезли в милицию, прямо с уроков забрали. Поговорили, расспросили, кто первый предложил устроить штаб под пакгаузом, кто принес фонарь, все записали, потом сказали, что будет суд, и отпустили домой.

Суда Николка боялся. Каждый раз, когда в поселке появлялась «раковая шейка» — спящая милицейская машина с красной полоской на боку, Николка убегал на чердак прятаться и не выходил оттуда, пока машина не уезжала. В школе на уроках он уже сидел спокойно: постоянно смотрел в окошко, не идут ли забирать его в суд.

На самом же деле в суде оказалось совсем не страшно. Сидели там три женщины и по очереди спрашивали о том же, о чем спрашивали в милиции: кто ходил в «штаб» и зачем Николка принес фонарь. Были еще там два дядьки: один, толстый, говорил, что в складе было

одно ненужное барахло, которое спишут, а другой, длинный, все почесывал большой, загнутый, как у коршуна, нос, и рассуждал о каких-то огромных убытках.

А недавно пришла бумага, которая вызывала Илью в город. И сейчас Николка ждет его, забравшись на печь и укрывшись старым лохматым тулупом.

Глухо прогудел паровоз. «Товарняк,— подумал Николка.— Пассажиру еще рано»,— и закрыл глаза.

Под тулупом тепло и уютно, но от нахлынувших воспоминаний щемит сердце. «Переехать бы в новый дом вместе с дядей Веней,— мечтает Николка.— Когда пакгауз сгорел, он один пожалел ребят». Все остальные ходили злые и советовали отцу, чтобы он спустил с Николки три шкуры.

Правда, отец Николку пальцем не тронул, но Николке все равно нелегко, особенно, когда тот молчит целыми днями. Раньше играл с Николкой, сказки вечером рассказывал, а теперь придет с работы, молча поест и на огород уходит копать.

С матерью, хоть та и ругается и шлепнуть может, если не увернешься, все же проще: надо только вовремя спрятаться, чтобы злость из нее вышла. Тогда сама начнет искать и беспокоиться, где Николка. И такая радостная делается, когда он находится.

Становится жарко. Николка зевает и трет глаза. На ладошке — фиолетовые линии. Это позавчера ночью, когда мать послала его в очередь за мукой, какой-то дяденька химическим карандашом номер написал. Всей очереди номера писали и Николке тоже — триста сорок четыре.

Уже почти утром Николка задремал и, чтобы не упасть, стал за мокрый забор держаться. Номер и смазался. Как он тогда напугался!.. Сначала тихонько заплакал, но потом догадался, сбегал домой, взял хи-

мический карандаш и снова написал номер. Все боялся, что непохоже написал и что его из очереди выгонят. Но когда стали муку давать, Николку пустили-таки в свою очередь. Номер посмотрели — и пустили. Три пакета дали — на него, на мать и на Лешку тоже. Если бы сегодня отец не уехал в город, мать испекла бы пирогов с капустой, с картошкой и с селедкой, самых любимых... «Эх...» — тяжело вздыхает Николка.

В дверь стучатся, и заходит тетя Маша, жена дяди Вени. Ее Николка почему-то не любит. Наверно, потому, что она со всеми хохочет, а на дядю Вешю ругается. Из-за каждого пустяка ругается, а тот только сопит и оправдывается... «Сейчас они опять вместе с матерью начнут про пакгауз вспоминать, — думает Николка. — Эх, лучше бы совсем на свете не жить!» Он прислушивается к разговору, потом глубже залезает под тулуп и потихонечку засыпает.

Приснилось ему, что Илья гонится за ним по полю. и от страха Николка проснулся. Смотрит — отец уже дома. Хотел Николка с лежанки спрыгнуть, но удержался.

Илья сидел за столом молча, обхватив голову руками, в пальто и грязных, обляпанных по самое голенище сапогах. Раньше он не заходил в сапогах в избу.

Мать с полотенцем в руках стоит рядом — ждет, что же скажет Илья, а он все сидит и все молчит. Николка пугается: а вдруг еще заметит сейчас на клеенке чернильное пятнышко. Пятнышко, правда, небольшое, Николка его отскоблил мылом и щеткой, но след все равно остался — белая такая полоска. Но Илья пятна не замечает. Он поднимает голову и глухо говорит матери:

— Так-то, Катя. Двенадцать тысяч за ущерб платить...

Мать вскрикивает и, подбежав к печке, сдергивает с Николки тулуп.

— А ну, слазь, щенок проклятый...

Николка испуганно закрывает глаза и громко сопит.

Илья тоже подходит к печи, берет мать за плечо.

— Оставь, Катя, не пугай парнишку. Этим дело не поправишь.

— Уродился ирод на мою голову,— заходится слезами мать и прячет лицо в полотенце.

Николка тем временем снова незаметно натягивает тулуп на себя и прислушивается, как Илья, побряхтывая, стаскивает с ног сапоги. Потом вместе с матерью они уходят за перегородку.

Уже поздно, и белая луна краешком косится в окошко, подглядывает, спит ли Николка. Но Николке не спится. Он думает.

Двенадцать тысяч — это много или мало? У него есть только пятерка, что подарил в день рождения Илья, и еще рубль, который мать вчера дала в школу, а Николка его не истратил.

Жалко, что лето кончилось. Летом бы можно попроситься в колхоз полоть грядки. Другие ребята пололи и по пятьдесят рублей заработали. Но пятидесяти тоже, наверное, мало.

Николка вздыхает и жметесь. Завтра рано утром Илья уйдет на работу, и тогда мать выпорет Николку. За двенадцать тысяч обязательно выпорет. Лучше бы она сегодня его побила, чем завтра зареванному в школу идти. Он еще раз глядит на луну и засыпает по-настоящему.

А отцу с матерью не до сна. Лежат, думают, как теперь жить, как с неожиданным долгом рассчитаться. Невеселые, печальные думы, да что делать, надо как-то жить дальше...

Около гаража перед началом работы Илью окликнул Маслов.

— Мне тут Митрофанов сказал, что взгрели вас вчера крепко...

— Не поминай лучше, без того тошно... Катерина на больничном сейчас, на одну зарплату перебиваемся, а тут, как на грех... Где тонко, там и рвется.

— Ты погоди тужить... Есть тут одна хорошая мысль. Ты на болоте был за клюквой?

— Бывал,— недоуменно дернул плечами Илья.

— Давай в выходной махнем туда. Думаю, что куда по три за день наберем...

— К чему только, в толк не возьму,— смутился Илья.

— Да в Москву бы съездили. Сказывают, там клюкву по два с полтиной за стакан нарасхват берут. По паре мешков возьмем — тысяча чистыми получится. Федор базары знает, человек бывалый. А повезет — можно будет еще наведаться.

Илья согласился, и в ближайшее воскресенье они подались на дальнее болото, что начиналось за Медвежьей запанью и тянулось километров на пятьдесят. Зеленое, мшистое, славилось оно неисчислимыми клюквенными запасами, тем, что пудовую корзину здесь можно было набрать, почти не сходя с места.

Машину оставили на развилке — укрыли в чахлом березняке в полутора километрах от болота и по торфяной мокрой тропинке пошли до места. Болото — это редкие кустики можжевельника, стелющиеся, густо опушенные сосенки, высокие пучки осоки и кочки, пышные, буро-зеленые, усыпанные отборной, вишнево-красной, как капельки смерзшейся крови, клюквой.

Митрофанов — мужик хозяйственный: у него совок с зубьями, знай причесывай мох да ссыпай добычу в

мешок. Клюква — ягода крепкая, не давится. Илья с Венькой в картузы собирают. Очешут горстью бугорки и сыпают в картуз, а оттуда в мешок. Подается плохо. К обеду Митрофановский мешок уже по завязочку, а у них на двоих половина. Помог Федор друзьям, и вечеру справились и они: стаканов по четыреста взяли на брата. Для первого раза хватит — проверить надо, как покупать будут.

Долго откладывать — себе на вред. К следующему выходному сговорились ехать. Митрофанов — тот после ночной смены как раз, уговорился с напарником, чтоб подменил, если вдруг замешкается, не вернется к сроку. А Венька с Ильей на всякий случай по дню за свой счет взяли.

Поехали в плацкартном вагоне, в одном купе. Сосед — старик с седой окладистой бородой. И с ним мальчонка лет пяти.

Распихали мешки под лавками, расселись. Знакомиться начали.

— Куда едешь, мальчик? — завел разговор Маслов.

— К деду Ваське.

— А где дед Васька?

— Рядом сидит, — бойко ответил мальчуган и потянулся к черным с зелеными кантами погонам на Митрофановых плечах.

— Внушонка к себе везу, — объяснил старик. — Пускай подкормится, а то тощей больно...

— Хорошее дело, дед, — отозвался Маслов. Его явно тянуло на беседу. — Что, отец, как она тебе — жизнь-та?

— А слава богу, жаловаться не на что.

— Со старухой своей часто ругаешься?

Старик погладил бороду, подумал, степенно пожал плечами.

— Как живем, дурой, кажется, не назвал ни разу.

— Э-э...— присвистнул Маслов.— Да ты философ.

Поделись опытом, если не жалко.

— А что тут делиться: жили — людей не смешили.

Поссориться ведь недолго — мириться каково?

— Тоже правильно. Ну, а с другими людьми, с соседями, например, как жил?

— Жил... Помогал, когда кому плохо было. Мне тоже при нужде подсобляли...

— Так уж и не поссорился ни с кем за всю жизнь?

— Да вроде всяко выходило. Каждому ведь не угодишь: кому хорош, кому плох — про себя трудно судить. Может, и обижал кого, но только зла на душе не держал.

— Значит, добрым надо быть, обуздывать себя?

— Выходит, так.

— Тогда рассуди вот ситуацию... У нас у мужика одного душа очень болела. Мать у него померла, а сестры не сообщили даже, через месяц только и узнал. Ходит — места себе не найдет. Жжет его изнутри, почернел весь. Надо сесть с ним, поговорить — он и успокоится. Хорошее это дело?

— Хорошее, — согласился старик.

— Так. Выпить, конечно, надо, иначе не разговор. Можно?

— Можно, — кивнул дед.

— А вот, по разуменью моей бабы, нельзя, и дело это для нее худос. Дверь, видишь ли, на ключ заперла, чтобы не ушел. А когда я с балкона стал слезать, так помоями сверху окатила. Вот тут как прикажешь жить? Ведь не дай отпора — она вконец обнаглеет. Умная баба — с ней сам вроде умнее, а с такой, как у меня — поденщина одна...

— Сердце, значит, озлоблено, — старик закричал,

устраиваясь поудобнее.— В самом человеке зла мало, жизнь его копит... А ты попробуй раз: не коряжься, уступи — самому легче жить станет.

— Э, отец, — отмахнулся Венька, — скучно так, когда все правильно. Тоскливо. Я, может, обижу кого, так после сам мучаюсь. Заглажу вину — и жить веселее.

— Равновесие тогда искать надо, не перекашивало чтобы в плохую сторону...

— Другой разговор, — оживился Венька.

Он хотел поговорить о чем-то еще, но в вагон вошел проворный буфетчик в белой куртке.

— А вот кефир — холодный как лед, сладкий как мед. Мужчинам полезно, женщинам приятно, — остановился он рядом в проходе. — Прошу, — предложил Маслову. — Парочку бутылочек для освежения умственных способностей.

Венька задумался.

— Это хорошо, да поосновательнее бы чего.

— Ресторан через три вагона, имеется все необходимое. Поспешите, пока не закрыли, — и буфетчик деловито пошагал дальше.

— Пойдем, — переглянулся Маслов с друзьями. — Не люблю, не поев, ложиться — цыгане снятся...

Согласились, пошли. Недолго покопались из приличия в меню, выбирая, взять суп или гуляш.

Маслов посмотрел исподлобья.

— Может, для аппетита немного? Желудок у меня пищу из столовых плохо воспринимает.

Спутники отказались. Но Венька заказал для себя триста граммов портвейна, и когда пришла пора возвращаться в свой вагон, он уже был готов к подвигам.

Митрофанов и Ветров устроились на сон, когда Венька явился в обнимку с новым приятелем. Он хо-

тел, чтобы старик рассудил возникший между ними спор. Но и старик и внучек спали. Илья и Федор также прикинулись спящими. И Маслов махнул рукой.

Москва встретила приехавших серым туманом. Горели огни в окнах, дребезжали трамваи, с шуршанием и гудками катились автомашины.

С перекинутыми через плечо мешками идти в толпе было неудобно. Митрофанов свернул в сторону, коротко объяснив:

— В метро поедем.

Илья и Маслов едва поспевали за ним, на ходу удивляясь множеству людей вокруг. Федор окликнул зазевавшегося Веньку:

— Не пяль глаза, а то потеряешься.

Венька обиделся.

— Еще чего. Не хуже тебя все знаю, бывал в Москве, не беспокойся,— забормотал он, хотя давно забыл, когда в последний раз приезжал в столицу.

Со свистом подскочил голубой поезд. Двери раздвинулись, и люди ринулись по вагонам. Венька замешкался, зацепившись за что-то мешком. Шов лопнул и крупные ярко-красные ягоды градом посыпались на каменные плитки. Это вызвало оживление среди пассажиров. Но Венька не смутился.

— Не обращайтесь внимания, граждане,— скинул он мешок, с плеча и при этом неосторожно задел кого-то из соседей.— В первый раз из деревни...

— Спекулянты,— прошипела ушибленная дамочка с жирно-пунцовыми губами.

Венька тут же завелся.

— Кто спекулянт?— огрызнулся он на дамочку.— Сама спекулянтка, а я трудовой крестьянин... Забыла, кто тебя хлебом кормит?

Вагон вмиг загалдел. Кто-то громко заговорил о милиционере, кто-то вступился за Веньку, а он, зашпиливая булавкой прореху в мешке, подробно распространялся о некоторых зажавшихся, забывших, откуда они родом.

Запахло скандалом, и на первой же остановке пришлось сойти.

— Что ты на рожон прешь!— обозлился Митрофанов.

— А какого черта она пристаёт?— не унимался Венька.— Не бойся, сегодня мы здесь, а завтра дома. Чего переживать?

До рынка больше приключений не случилось. Вышли из метро и каменными дворами добрались до высокого деревянного забора, за которым разноголосо гудела толпа.

— Прибыли,— с облегчением снял с плеча груз Митрофанов.— Разведать надо что к чему...

Маслов вызвался в напарники, а Илья остался с мешками. Под ногами разгуливали голуби, дородные, сытые, они почти не боялись людей, только иногда отбегали в сторону.

На столах торговали всякой всячиной—шапочками из кроличьего меха, рукавицами, яблоками, лавровым листом, картошкой и еще чем-то, чего не было видно из-за множества людей. Митрофанов с Масловым вернулись скоро и злые.

— Что так?— забеспокоился Илья.

— Да ну его!— Венька свирепо сверкнул глазами на Митрофанова.— Два с полтиной стакан!.. Как же, выкусь,— крутанул он кукишем перед Федором.

— Откуда же я знал, что навезут столько,— оправдывался тот.

— А про справку тоже не знал?— сердито оборвал его Венька.

— Какую справку?— не понял Илья.

— Требуют удостоверение. Докажите, что, мол, клюква ваша собственная, а не перекуплена для спекуляции. Цена ей здесь — полтора рубля — завались! Так и по полтора не продашь: без справки лотка не дают.

— Да,— загрустил Илья.— Попали в непромокаемую.

— Словом,— Венька взвалил мешки на плечо и отряхнулся,— я больше в азартные игры не играю. Торгуйте сами,— и он заковылял обратно к метро.

Митрофанов стоял растерянный, красный.

— Связались с баламутом. Ему, верно, деньги не нужны, а нам надо что-то думать...

Он снова ушел и вернулся через полчаса с грубыми ящиками — лотками под мышкой и талончиком на место.

— Подмазать пришлось, дьявола. «Чуть чего,— говорит,— я ничего не знаю». Поторопиться надо: вдруг погорим, что без справки.

Пристроились с краю за длинным, заполненным людьми столом, насыпали в лотки ягод, стали ждать. На обрывках бумаги вывели цену, но покупателей не находилось. Если кто и подходил, то сначала запускал ладонь в лоток, перекатывал ягоды, пробовал на зуб, потом равнодушно приценивался: «Почем?— и услышав ответ, пожимал плечами. — Однако!» — и отходил.

За час продали стаканов десять, не больше. Илья не выдержал, сбросил цену.

По рублю торговля пошла веселее, даже очередь небольшая образовалась. Соседи по прилавку косились на непрошенных конкурентов, но молчали, лишь изредка заглядывая через плечо — скоро ли кончится расточительство.

Еще не зажигали фонарей, когда мешки опустели.

Илья и Федор сдали приемщику лотки и тут же за кассой, загораживая друг друга, посчитали выручку...

— Дорогу оправдали — и то добро! — невесело усмехнулся Федор. — Пойдем, хоть из продуктов чего-нибудь купим.

Остаток дня бродили по магазинам. Нечаянно попали в детский универмаг. Очарованный, ошеломленный Илья растерянно стоял среди детских игрушек и переживал, что нет рядом его ребяташек. Вот бы порадовались, нагляделись вдоволь! Долго раздумывал, выбирая подарки. Наконец купил две заводные машинки, кубики, конструкторский набор, а главное — большого коня-качалку с изящной раскрашенной сбруей и пышным хвостом. Так и тащился с этим конем под мышкой через всю Москву, представляя, как обрадуются этой диковинке ребяташки.

Только в поезде они наконец поели. Митрофанов принес от проводника кипятку. Каждый отрезал по большому ломтю хлеба, густо намазал его маслом, покрыв сверху внушительным куском колбасы. Потом на всякий случай прошлись по вагонам — нет ли Веньки и, не обнаружив его, задремали усталые, сидя на своих общих местах. Проснулись уже в Колдоме.

В избу Илья ввалился, когда ребяташки еще спали. Поставил подле стола гостинцы — так, чтобы сразу заметны были. Быстрехонько переоделся — и на работу. Попутно заглянул к Масловым узнать, как дела у Веньки, но хозяина дома не было.

Не вернулся он и с вечерним, архангельским, поездом. Испуганная жена уже начала оплакивать его, как пропавший объявился. Приехал довольный, веселый. Рассказал, что махнул на свой страх и риск прямо в Ригу, где спокойно расторговал весь груз по два с половиной за стакан, причем справки с него никакой не

спросили. На выручку отоварился трикотажем — кофточками, свитерами, рукавицами — всю семью одел в обновки, да кое-что и ветровским детишкам привез.

Митрофанов, удивляясь Велькиной удаче, заикнулся было насчет того, не съездить ли и им в Ригу, но Илья отказался наотрез. Помнилось, как свысока окидывали его на базаре, будто он делал что-то постыдное, и до сих пор было больно от несправедливой обиды...

Но вскоре подвернулся другой приработок. На станцию привезли кубометров триста леса. Расторопные и хозяйственные колхозники-гуцулы каким-то образом сумели закупить его для своих нужд прямо в леспромхозе. И чтобы не искушать судьбу, лес надо было срочно вывезти.

Митрофанов подрядился на погрузку леса, а в напарники пригласил Илью и еще одного человека, крановщика. Расплачивались гуцулы прямо на месте и в оплате не скупились. Пять вагонов погрузить — работа, на первый взгляд, нехитрая: вали бревна да распахивай ногами, чтобы ложились плотнее. Но как во всяком деле, и здесь сноровка пужна, особенно когда верх выводишь. Не растряслись чтобы, не раскатились кряжи дорогой, а то неровен час и эшелон можно под откос отправить.

Первые два вагона уложили удачно, вывели шанки, закрепили распорки, проволокой стальной стойки стянули — чин по чину. Обвыкнув, заработали быстрее: край цепляет пучки бревен, подает наверх, а там Илья пристранивает их к месту. Начали крепить верх — заторопились, чтобы закончить скорее да сходить поесть как следует. Край развернул уже последнюю порцию, качнул ею в поднебесье и медленно стал опускать. Илья придерживал край связки, направляя, чтобы она легла поточнее, как вдруг трос лошнул, и две высоко-

чившие еловые баланины сбили Ветрова, распластали его, придавив грудь и ноги.

Напарники торопливо сняли бревна и аккуратно опустили Илью на землю. Пока бегали за помощью, по поселку уже прокатился слух о случившемся.

Илья лежал без памяти, глухо постанывал. Прибежал незаменимый Никандрович, сделал укол, ваткой отер кровь в уголке рта. Задохнувшись от бега, растолкала людей Катерина и, увидев мужа, враз ослабла, опустилась на снег, зашлась в надрывном плаче.

Илья шевельнул губами — хотел что-то сказать, но не смог. Так и увезли, беспамятного, в больницу в область на специально вызванной дрезине.

Давно побелела земля, ядерный морозец разрисовал стекла в доме, а Илья все лежал в больнице.

У Николки — каникулы. Он сидит у окна, смотрит в глазок-проталинку. На улице холодно, никого нет. Видны только черные вороны на заледеневших выплесках помоев.

Мать на работе, а Лешка теперь ходит в детский сад. Николке одному скучно. Подумав, чем бы заняться, он подвигает стул поближе к столу, достает чернила, бумагу и садится писать письмо. Большими, немного расползающимися буквами выводит: «Здравствуй, папка!» — и задумывается... Николка знает, что этот папка ему не родной, что родной его отец погиб на войне — его Николка никогда не видел, но знает по фотокарточке. Он был очень хороший — и дядя Веня про него Николке рассказывал, и мать. Но все равно Николка считает Илью своим настоящим отцом. Вот нет его дома — и как-то пусто, неуютно. Скорее бы отец приезжал!

Николка кусает кончик ручки и продолжает письмо:

«У нас все хорошо. Лешка ходит в садик, больше не плачет. Приезжай скорее. Мама ждет и я. И Лешка тоже. Я всегда буду слушаться. Письмо кончаю». Но, подумав, еще добавляет: «Ермак вырос совсем большой. Я с ним играю. Ему все приносят кушать».

Потом Николка отыскивает конверт, пишет адрес. От стола его отрывает стук в дверь.

— А где мать, Николка?— спрашивает почтальонша.— Телеграмма вам от отца. Распшись и отнеси ее матери на работу. Он сегодня приезжает, встретить просит.

— Ура!— радостно кричит Николка и вливается глазами в телеграмму: «Приеду пятого пригородным. Попроси Веню встретить. Целую Илья».

Николка смотрит на часы— они как раз с хриплым звоном отсчитывают семь раз.

«Еще долго, два часа с лишним,— прикидывает Николка.— Боится, наверно, ночью один идти,— думает он об Илье.— Конечно, после больницы слабый. А тут еще недавно волки в поселок забегали, чуть Ермака не съели».

Николка торопливо натягивает пальто, шапку, обвивает вокруг шеи шарф. Сам не маленький— встретит. Вот мать с Лешкой удивятся, когда они вдруг домой вместе придут!

На улице мороз обжигает щеки. Николка поднимает воротник и кличет Ермака. Но пес вертит хвостом и идти не хочет. Тогда Николка на всякий случай достает из-под крыльца палку и храбро начинает спускаться по узкой, переметеной снегом тропинке.

На станцию он добирается за полчаса до прихода поезда. Посидев на диване в маленьком пассажирском зале, заглядывает в кассу, внимательно изучает расписание на стенах. Затем выходит на перрон— не пропу-

стить бы приход ожидаемого поезда. И как только по радио объявляют его прибытие, торопливо кидается навстречу приближающемуся составу.

Отца он замечает, когда тот уже спускается на землю, опираясь на костыли. Какой-то человек, поживаясь от холода, опускает рядом с ним чемодан и сетку, а сам возвращается в вагон.

На глаза у Николки навертываются слезы.

— Папка, ты так и будешь на костылях?

Илья крепко обхватил сына за шею, привлек его к себе.

— Брошу, к весне брошу...

— Плохо тебе, да?— тревожно заглядывает в глаза Николка.

Илья весело подмигивает.

— Ничего, сынок, переживем...

3

Пережили. Шестнадцатую послевоенную весну встретила Колдома. Прошли черемуховые холода, тополя вдоль улиц выметали большой, с человеческую ладонь лист, и началось лето, пыльное, жаркое, с грозами— самое настоящее.

Безвозвратно ушли в прошлое былые беды. Только осталась у Ильи легкая хромота на левую ногу, да порой, когда надо подчеркнуть особую давность какого-нибудь события, в поселке говорят: «Тю, вспомнил... Это было, когда еще старый пакгауз пацаны не сожгли».

А вообще жизнь идет своим чередом, неторопливо, спокойно, как ей и положено.

В школе закончились занятия. Николка пришел домой, положил дневник в стол, снял и аккуратно пове-

сил в шифоньер костюм—до сентября, до десятого класса, и, одевшись попроще, радостно побежал к реке. Впереди целое лето свободы!

Он всласть наплавался, панырлся. Потом прилег в тени ивового куста. И заснул.

Проснулся уже на закате. Откуда-то появились комары и назойливо пищали в уши: «Снишь... Спишь...» А насосавшись крови, с тяжелым гудением срываются прочь. От укусов зудело и нестрело волдырями тело. Николка искупался еще раз и направился к дому.

Еще издали на огородах он приметил отца. Тот равномерно поднимал и опускал тяпку, окучивая картошку. Работать Николке не хотелось. Подумал—не улизнуть ли, пока не заметили, но устыдился этой мысли. И, вооружившись предусмотрительно прихваченной для него отцом тяпкой, встал с ним рядом.

Первые несколько рядов он прошел легко, потом начал уставать и в душе поругивать себя за опрометчивость: каинкулы ведь, можно бы в первый день и полежать в сарайке на полатах...

Он искоса поглядывает на отца—не намерен ли тот заканчивать. Но не похоже. Тогда Николка ускоряет темп. Отец тоже начинает двигаться быстрее. Идет негласное состязание. Работа втягивает, и усталости как не бывало. Так вперегонки они проходят обе гряды. Илья доволен: одной заботой меньше.

Во дворе, поливая друг друга, они умываются ледяной колодезной водой.

— Силен ты, парень, стал,—отфыркиваясь, говорит Илья.— Чуть было не замотал меня, едва-едва угнался.

Николка мычит что-то неопределенное, смущенно улыбается. Он и сам под конец работал из последних сил, и если не оставил тяпку, то только потому, что не хотелось перед отцом слабаком показаться.

После работы во всем теле тяжелая истома, и аппетит дает себя знать.

— Давай-ка вот что: поставим на огороде домик — вроде дачи, все не бегать от дождя каждый раз... Забор бы неплохо заменить. Досок я достану,— говорит Илья.— Все равно у тебя каникулы. Чем попусту время терять, лучше пользу семье принести. Силенки поднакопил, справишься. С утра начнешь, а вечером я помогать буду.

Мать хочет вступить, выторговать для сына хоть полмесяца отдыха, но характер у Ильи твердый: что решил — так и будет.

Николка дохлебывает борщ, поднимает глаза на отца.

— Знаешь, я работать пойду. На кирпичный завод...

Илья задумывается. Повторяется прошлогодняя история. После окончания восьмого класса Николка три дня погулял — и на работу, пошел кирпичи на машине возить из Колдомы в райцентр. Сначала Катерина было всполошилась: как-никак отец с матерью есть, прокормят и оденут. Чего себя с детских лет мучить? Добро бы куда в поле, ягоды собирать или гряды полоть, а он в грузчики с шестнадцати лет...

Илья тогда сына поддержал. Решил, что кроме пользы от работы ничего не будет. Во-первых, сын сызмала цену трудовой копейке узнает, а, во-вторых, окрепнет, силенок накопит. Кирпичи не бревна — не надорвется. Поработал тогда Николка полтора месяца, заработал, конечно, невесть сколько, но костюм к школе на его деньги купили.

Сейчас Илья колеблется и раздумывает: «Ну, работает Николка рублей полста — деньги не ахти. На огороде пользы, пожалуй, больше будет. Но, с другой стороны, за овощами сейчас какой уход? Только полить

вечером. Забор можно тоже не спеша поставить, а полсотни на дороге не валяются. Пусть поработает».

— Добро,— соглашается он.— Раз решил— давай. Только повнимательнее будь в кузове. Дорогу прошлой осенью трактора подрабили, так не прищемило бы где кирпичами на тряске.

— А я на машину не пойду. С мастером мы поговорили, обещал что-нибудь поинтереснее подыскать. Только осенью я себе часы куплю,— предупреждает Николка.

— Твое дело,— соглашается Илья.— Взрослый уже, можно и часы...

Катерина вдруг что-то вспоминает и поспешно уходит в другую комнату. Возвращается улыбающаяся, держит раскрытый Николкин дневник.

— Не видел еще, отец? Глянь, одни пятерки за год, только по химии да немецкому четверки...

— Молодец,— степенно хвалит отец.— А на немецкий поднажать надо, без языка сейчас хорошим инженером не станешь. Давай, сын, давай, с медалью в институт легче поступать...

— Это еще вилами на воде писано,— басит Николка.— Целый год впереди,— и смущенно улыбается.— Пойду в клуб, в кино схожу...

Мать смотрит ему вслед и качает головой.

— Сам ведь не показал, негодник. Спрятал в стол и ни словечка.

— Мой характер,— одобряет сына Илья,— страсть не люблю хвастаться.

Катерина смеется и лохматит голову мужа.

— Говори, говори... Трезвый, конечно, себе на уме, а уж выпьешь немного— все козыри наружу. И вокруг дома обведешь, и в огород сводишь, и в мастерскую. Любишь пыль в глаза подпустить, чего там!

— Честным трудом сработано — имею право похвастаться, — отшучивается Илья.

— Замкнутый он у нас какой-то, — снова переводит на Николку разговор Катерина. — Ты бы приласкал его как-нибудь, поговорил по душам.

— Возраст такой, мать. Сама ведь видишь: как свободная минута — мы вдвоем. А что он языком молотье не мастер — так то и к лучшему. Человеком вырастет, а не балаболкой. Я в его годы уже целиком на своих ногах стоял. Вот за Лешкой — за тем глаз нужен. Больно уж балованный он у нас. Ты его приучай, что, кроме него, и другие есть — не дело только о себе заботиться. Вот давеча обедаю, а он напротив яблоко грызет. Откусил два раза — и хлесть в помойное ведро. Не жалко, конечно, еще треть бочки лежит — до новых хватит, а нехорошо. Не хочешь — отцу отдай или положи, потом съешь. И ведь сам палец о палец не ударит, пока не прикрикнешь.

Катерина не спорит — верно, за Лешкой догляду нет. В школу они с Николкой ходят в разные смены. У отца работа допоздна, да и огород времени много требует. Сама же Катерина с головой в общественных делах. Помимо родительского комитета, в трех комиссиях на заводе состоит да еще поселковый депутат. По этому поводу Илья любит шутить, что у всех жены, а у него — деятель.

Три года назад, когда у Масловых родился шестой ребенок и на этот раз мальчик, Илья заикнулся было Катерине, что и им неплохо бы третьего, но получил категорический отказ.

— До старости, как Мария, с пеленками возиться не намерена, — твердо объявила Катерина. — Надо и по-человечески пожить.

Илья сначала возмутился, даже поругался с Кате-

риной, но жена все-таки переубедила его. В самом деле, дети — это и лишние хлопоты, и бессонные ночи, да и расходы опять. Поначалу вроде и небольшие, но с каждым годом расти будут: ботиночки, рубашки — все денег стоит. Да и не свободно будет: вечером жена на собрании — ему же валандаться. Потом болезни начнутся — без них как обойдешься? Одним словом, дети — хозяйство беспокойное. А пора, наверное, и об отдыхе подумать.

Жизнь у Ветровых за эти годы наладилась. Необходимость выплатить штраф научила их бережливости. От выпивок Илья отказался сразу после женитьбы, и это тоже укрепило их семейный бюджет, так как ни в чем так много и бесследно не пропадает денег, как в выпивке. Между тем, друзья, когда Илья категорически отказывался от сидения в компаниях, на него ничуть не сердились, даже уважали еще больше за твердость характера. Признаться, и времени у Ильи для подобных компаний не было. Несколько последних лет семья Ветровых обеспечивала себя пропитанием сама, покупая в магазине лишь хлеб да сладости. Правда, еще молоко приходилось брать на стороне. Но солений и варений хватало со своего огорода.

Огородная наука Никандровича дала свои результаты. Излишки овощей Илья сдавал даже в заводскую столовую, начиная с майского зеленого лучка и заканчивая свежеквашеной капустой к первым заморозкам. Продукцию Илья поставлял в столовую по твердой государственной цене. И в благодарность ему оттуда ежедневно давали ведро-два отходов для поросенка, которого, как известно, крошками от семейного стола не выкормишь.

Все это требовало, конечно, немалых трудов. С ранней весны и до первого снега приходилось не покладать

рук. Только загон под картошку пахал лесхозовский конюх, все остальное вскапывалось, рыхлилось, окучивалось, полосоилось, поливалось, прореживалось, подкармливалось самими. Поэтому для Ильи привычным делом было по солнышку вставать и с ним ложиться.

Своя ноша, как говорят, не тянет, и работал Илья по хозяйству с удовольствием. За пять лет после выплаты последней сторублевки штрафа он сумел почти заново отстроить дом, покрыть его шифером и внутри все заново отделать. Немалым подспорьем была его шоферская профессия: привезти что, достать вовремя нужную вещь проблемы не составляло.

Временами размышлял Илья, ради чего вся эта суета в жизни. Поначалу убеждал себя, что старается ради детей. Но чем дальше, тем больше понимал: не так уж это им надо. Десятки таких же ребяташек рядом живут куда в меньшем достатке, а ничуть не хуже ни по смекалке, ни по здоровью. Все выживут, все в люди выйдут.

Не раз Илья задумывался и над тем, что же будет из его ребяташек, но так определенно ничего и не придумал. Одно только решил: надо парней к ремеслу приучать — оно уж никогда не выдаст, не продаст, в куске хлеба завсегда поможет...

Все чаще стали также приходиться мысли об отдыхе: «Не оставить ли хлопотливое хозяйство на жену и старшего сына и не съездить ли на курорт? Несколько раз уже путевку предлагали — на Кавказ, в Крым, а все, дурень, отказывался. Надо и мир посмотреть — не до смерти сиднем ошиваться. Плохо ли съездить к морю, побездельничать вволю, отдохнуть, как порядочные люди отдыхают. Ведь на пятый десяток вот-вот перевалит — не заметишь, как жизнь прокатится». Но тут же возникали и сомнения: «А как же быть с женой? Ей

тоже захочется. Но сразу двоим ехать накладно. Одну же ее отпустить тоже нельзя. Кто знает, что от долгого южного безделья может прийти в голову? Да и непривычно такое для Колдомы — жен поодиночке на курорты отпускать».

Вот и сейчас он размышляет над этим. От дум его отвлекают донесшиеся из кухни голоса. Оказывается, там пришла Мария Маслова, и они что-то горячо обсуждают с Катериной. Но только Илья входит, умолкают. Выходит, секретничали.

Поздоровавшись, Мария переключается на хозяина, не давая ему опомниться.

— Что там опять мой накуролесил? Жалоба какая-то пришла — на складе с рамами путаница.

Илья крутит головой, хочет отговориться незнанием, но долго устоять не может.

— Ездили мы с Венькой несколько раз в район, рамы сдавали строителям. Ну и обсчитался он однажды: пять штук передал. Хватился потом, приехали — нет, говорят, все точно сгрузили. Ладно. Приезжаем в другой раз. Под шумок завскладом в накладной расписался, а в ней те пять штук, что на нас висят, и приписаны. Ну уехали мы, а следом телега покатила: так мол и так, недодали по накладной пять комплектов. А Венька отвечает той же песней: не знаю, не ведаю — за сколько расписались, столько и было.

— Ой, посадят вас когда-нибудь обоих, — сокрушается Катерина.

— Ничего, отсидим не хуже людей, — отшучивается Илья и удаляется в комнату, чтобы не мешать женским секретам.

Лишь когда гостя уходит, спрашивает у жены:

— О чем это вы с Марией шушукались?

— Не говори лучше, сердце кровью обливается. Де-

нег опять занимала. Поговорил бы хоть ты с ее байбаком — ни стыда ведь, ни совести.

— Зря ты на него, мужик он умный, работающий. А дома не ладится — так это темное дело.

— Когда это умным он был? — горячится Катерина. — Да еще и работающим... Палец о палец не колонет...

— Не возводи напраслину на мужика. Зайди на работу — взгляни: станок у него как новенький блестит, вокруг все прибрано. И безотказный: кто о чем попросит — всегда поможет. Марии самой бы поприветливее быть, за каждый пустяк пилит. Тут каменный взорвется...

— Конечно, — возмущается Катерина, — у вас во всем жены виноваты... — Она смеется и лохматит голову мужа. — Кроме тебя, конечно. Нет, как ни выгораживай, а бестолков твой дружок. Ох, бестолков...

Возвращается из клуба Николка, и они с отцом садятся перед сном сыграть пару партий в шахматы. Илья загадывает: выиграет он хотя бы одну партию — поедет на курорт, проиграет обе — дома останется.

Первую партию Илья проигрывает, а вскоре выясняется, что и во второй партии выигрыша у него не получается. Он мучительно ищет путь хотя бы к ничьей и смотрит на сына с надеждой — ну поддайся уж, проиграй, что тебе стоит! Но сын непреклонен, будто и не поддавался ему отец десятки раз, желая подбодрить и вселить уверенность в своих силах. Илье становится обидно. В азарте он предлагает сыграть третью партию, но Николка откидывается на спинку стула и, позевывая, показывает на часы. Уже двенадцать.

Илья в сердцах машет рукой — ладно, с грохотом сыпает фигурки и захлопывает доску. Поездка на курорт сорвалась. Илья злится на себя и испытывает ка-

кое-то неясное чувство обиды на Николку. Так и ложится спать.

Утром на работу они выходят вместе, отец и сын. У обоих в руках узелки с обедом. Илья собрался на лесопункты, а они сейчас растянулись — до ста шестидесяти километров в один конец бывает. Николке до завода путь предстоит тоже не короткий.

На перекрестке Илья высказывает последнее напутствие сыну, и они расходятся каждый в свою сторону.

Мастер встретил Николку приветливо и сразу определил его к месту — катать на тачке сырой кирпич в печь для обжига. Поначалу показал, как сырец из вагонетки на тачку накладывать. Предупредил, чтобы не брал больше сорока штук. А то есть — по восемьдесят возят, что добрых полтонны составляет. Так-то с непривычки сорвать себе что-нибудь очень просто.

Затем мастер провел Николку с пустой тачкой по железным полосам — настилу для катания, показал, как сподручнее заворачиваться, и благословил в очередь за рыжеватым Фомой.

Первые две тачки Николка провез удачно, даже легко, но третья на стыке железных полос съехала на землю и опрокинулась. Пришлось заново укладывать кирпичи и просить Фому помочь поставить тачку на полосу.

Всего до обеда Николка сумел привезти двадцать пять тачек и шесть раз опрокинулся. От усталости его даже слегка пошатывало. Рубашка от пота и пыли стояла на нем колом. А на еду и смотреть не хотелось. Но он все же пересилил себя и перекусил вместе со всеми.

После обеда дело пошло лучше. К тачке Николка теперь приноровился, понял нехитрую механику — главное поддерживать равновесие, а катится тачка от соб-

ственной тяжести. Особенно внимательным следует быть на поворотах, и если подъемчик подвернется, надо брать его с разбегу.

Сигнал к концу работы подал Фома. Пробежал мимо учетчицы, белобрысенькой такой девчушки, что стояла с блокнотом и карандашиком в руках, крикнул на ходу:

— Сколько?

Ответ все услышали:

— Девяносто восьмая.

— Еще две тачки — и шабаш! — весело подытожил Фома.

На сегодня был уговор катать до ста тачек, так как путь был короче, чем обычно, да и дорога ровнее.

Завез Николка последнюю тачку в камеру и едва дождался, когда кирпичи с нее спихнут.

Фома спросил у учетчицы, сколько парнишка накалтал. Вышло — семьдесят две тачки. Николка примерно столько же про себя насчитал, сбился только однажды.

— Зря считаешь, — заметил ему Фома. — Лучше вспоминай о чем-нибудь, быстрее время пойдет, — и повел Николку в душ.

Помылся Николка неохотно, только большую грязь согнал, а, придя домой, заснул так, что к ужину не могли добудиться.

Пять дней привыкал он к тачке. Пять дней нещадно ломило плечи и спину. Утром Николка с трудом разгибался и шел на завод, казалось, из последних сил,

Фома предложил ему перейти катать вагонетки — там гораздо легче. Пожалуй, Николка и согласился бы. Но вместо белобрысой учетчицы теперь была Таня Маслова — тоже на лето устроилась на завод работать, и Николке не захотелось оставить ее одну среди тертых,

видавших виды мужиков. Таня беззащитна — и услышать может всякое, и прикрикнуть может ошалевший от монотонной гонки каталь: «Худо считаешь! Пора шабашить давно, а у тебя все еще восемьдесят!» Когда Николка рядом, обоим легче: то взглядом перекинутся, а то, если перебой какой — кирпича нет, и посидят рядом на вагонетке.

Поговорить не на людях, в стороне, они еще стеснялись, словно боялись, как бы кто-нибудь не усмотрел в этом что-то нехорошее, не ударил бы неловким словом, не затоптал бы то небольшое, тихое и нежное, что рождалось между ними. Поэтому и домой, хотя идти было по пути, шли на расстоянии друг от друга — Таня метров на двести впереди, Николка следом. Только рукой друг другу незаметно махнут, когда расходятся.

В работу Николка теперь втянулся — возил по шестьдесят кирпичей и от Фомы отставал не больше чем на пять-шесть тачек.

Подошла пора получки. Еще до обеда в конторе вдоль стенки выстроилась длинная гудящая очередь. Хоть небольшой, да праздник, Но у остальных он два раза в каждом месяце, а у Николки с Таней — впервые. Нарочно попросили аванс им не выписывать, чтобы все разом получить. И сейчас волновались: не шутка — собственный заработок! У Татьяны ставка твердая. А сколько начислят Николке?

Обошлось все лучшим образом. Сто пятьдесят два рубля с копейками получил Николка — растерялся даже. Никогда таких денег в руках не держал.

В первый раз они с Таней возвращались в поселок вместе. Вспоминали всякие мелочи, случавшиеся на работе, говорили, перебивая друг друга и весело дурачась. На душе было радостно. Да и могло ли быть

иначе, если тебе только-только исполнилось шестнадцать лет, а ты уже несешь в семью полновесные рабочие рубли и уверен, что отец с матерью могут на тебя смело положиться.

В поселке первым долгом заглянули в универмаг — выбрать подарки родным. Чуть даже не поссорились: Николка купил плюшевого медвежонка Мишутке, младшему Таниному братишке, а она рассердилась — у самой деньги есть.

Но тут же помирились и дальше подарки выбирали вместе. Николка купил себе наручные часы, самые недорогие, но красивые — циферблат темный, стрелки позолоченные. Отцу он взял рубашку нейлоновую, матери — халат, Лешке — крокодила надувного. Таня выбрала сестренкам ленты в косы и младшим по платьицу ситцевому, а тем, что постарше, материю на блузки — сама им сошьет. Ну и Мишку не забыла — купила сандалики к лету.

Домой они вернулись нагруженные и довольные, чувствуя себя героями. И отцу, и матери Николкины подарки понравились. Чтобы сделать сыну приятное, они тут же примерили их — все оказалось впору. А когда Николка выложил на стол еще без малого сотню рублей, тут Илья даже свистнул от неожиданности.

— Ну, востер, парень, востер. По столько-то в месяц и я не всегда зарабатываю, — и развел руками. — Обходит нас, стариков, молодежь, по всем статьям!

А вечером Николка с Таней гуляли за поселком. Бродили по теплым, еще не повлажневшим от августовских рос тропам, улыбались чему-то своему, только им понятному, мимоходом срывая какой-нибудь цветок, не замечая, фиалка ли это, ромашка или нежно-голубой кружок петрова батоба на жестком стебельке. Домой вернулись лишь с первыми петухами.

Как водится в небольших поселках и деревнях, прогулка эта не осталась незамеченной. И уже поутру обе матери были оповещены о ней и, встретившись в магазине, обговорили важную новость во всех деталях.

Илья к этому известию отнесся равнодушно, пробурчал что-то неразборчивое вроде «учиться надо парню, а не девками голову забивать» и, насвистывая, начал измерять и резать стекло для окна, разбитого недавно шальным порывом ветра.

А Венька и вовсе ничего не сказал, только промычал про себя — слышу, мол, слышу, отстайте! Он лежал на диване и взахлеб читал какой-то роман без обложки, который нашел на чердаке у Никандровича, когда там меняли сени. Все книги в заводской и станционной библиотеках Маслов уже прочитал, и теперь приходилось перебиваться тем, что под руку попадет: старыми газетами, журналами да такими вот находками.

Книги Маслов делил на два разряда — серьезные и так себе и определял это весьма оригинальным способом: попавшуюся в руки книгу он трижды раскрывал наугад и читал по одной строчке. Если находил что-либо, напоминающее его собственные житейские обстоятельства, то читал книжку от начала до конца с особым прилежанием.

Надо сказать, что чтение иногда наводило его на серьезные раздумья, и на какое-то время он отказывался от соучастия в хмельных компаниях и начинал заботиться о семье. Но это случалось нечасто и продолжалось не более недели.

Сегодня утром трижды раскрыв по обыкновению найденную книгу, он прочитал: «...в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет», «...тихая жалоба на бездействие свое прорывалась неволью» и «почувствовал, что выпался хорошо». Все три высказывания пока-

зались разумными и к жизни его имеющими непосредственное отношение, поэтому и начал Маслов чтение степенно, вдумчиво, но потом увлекся и пошел взахлеб перелистывать страницы.

Зов жены раздался в самый неподходящий момент — Венька, воды принеси! Увалень несчастный...

Он сделал вид, что не слышал и со злостью перевернул сразу две страницы. Но зов повторился, и Венька с ворчанием встал, звякнул ведрами и пошел к колонке, бормоча недовольно:

— Шесть балбесов растет, а помощи ни от кого не жди. Только хлеб переводят.

Но доброе полуденное солнышко, ветерок, настоявшийся на цветущих травах, постепенно приводят его в доброе расположение духа. У плетня галантно квохчет яркий петух, созывая кур к находке, монотонно гудят в вышине телефонные провода. Венька успокаивается и, занеся в дом полные с плавающими деревянными кружками ведра, шутливо щиплет жену в бок.

— Отстань,— сердится Мария,— одна дурость на уме...

И настроение у Веньки снова портится. Он возвращается на диван, но книжки под подушкой не находит. «Сперли, видно, чертовы дети»,— ругается про себя Венька и для порядка наказывает потомство, не разбирая правых и виноватых. После этого желание читать у него пропадает, и он собирается к Ветровым смотреть телевизор. Сегодня воскресенье— программа должна уже начаться. Телевизор пока для Колдомы большая диковина и имеется только у Ильи. Спасибо Николке— смастерил какую-то особую антенну, что принимает из области передачи почти без помех.

По вечерам у Ветровых народу— не протолкнешься, каждый приходит со своим стулом. Здесь куда интерес-

нее, чем в кино. Можно и поговорить друг с другом, и чайку попить, и перекурить в прихожей между передачами. «Очень башковитые мужики эту штуку придумали — весь мир можно увидеть, не выходя из собственной квартиры, — думает Венька. — Ведь столько людей на Земле живет, под одним солнцем ходим, а знаем друг о друге куда как мало. Надо бы самому телевизор завести, — мечтает он. — Только достать его очень трудно».

В Колдومه телевизоров пока совсем не бывало, а из области дружок в ответ на Венькину просьбу сообщил, что если записаться в очередь на телевизор, то подойдет она года через два. На что Маслов немедленно согласился и написал: «Хотя бы и через три, только бы достать...»

Когда Венька приходит к Ветровым, там уже сидит Митрофанов и теребит свою неизменную фуражку с огненным верхом.

— Как раз кстати, — радуется он Венькиному приходу. — Дело к тебе есть, Григорьевич...

— Валяй, дело — это я люблю, — отвечает Маслов и косит глаза на телевизор, но там пока идет урок английского языка.

— Слышал, поди, сына женить хочу, — начинает Митрофанов, — Петьку...

— Дело хорошее, — соглашается Маслов. — Парень взрослый, самостоятельный. На днях вместе в леспромохозе ночевали, так шалаши знатно строит. Пора, значит...

— Попросить тебя хочу — не поддержишь ли музыкой...

Венькины глаза начинают светиться: что ни говори, а человек он нужный! Но для порядку немного ломается:

— Придти, конечно, можно, но знаешь ведь, какой я игрок: самоучкой «отвори да затвори» освоил. А это разве музыка для образованного человека? У тебя, чай, родня приедет?

— Соберутся,— поддерживает Федор.— Да ты не стесняйся, все свои люди, простые. А без живой музыки, под радиолу, какой праздник? Ты уж уважь, Григорьевич! Старые друзья как-никак...

— Ладно,— соглашается Венька,— буду как штык.

— С Марьей вместе приходите, без повторного напоминания. В следующую субботу к пяти часам. И никаких подарков, так приходите.

— Не сомневайся, будем честь по чести.

Митрофанов благодарит, прощается с Венькой и Ильей и уходит приглашать других гостей.

А Венька задумывается... Последние годы на все празднества он ходил один, без жены, и был в этом свой резон. Если прийти вдвоем, то это уже вроде гостей, и без подарка являться неудобно. Подарки же к свадьбам в последнее время принято было покупать видные: плюшевые скатерти, торшеры, наборы столовой посуды. Деньги на них тратились щедро, чтобы было чем щегольнуть друг перед другом. Составить конкуренцию в этом Венька из-за большой семьи не мог, а быть хуже других не хотел, поэтому и ходил на свадьбы с одной гармонью, вроде бы как на работу. Митрофановское замечание о подарке неприятно кольнуло его, и он задумался, как лучше поступить.

— Слышь, Илья, а что если мы на пару молодым радиолу подарим?

— Точно, светлая твоя голова,— обрадовался Ветров.— Я тоже о подарке думаю. В аккурат будет — и вещь нужная, и расходы не ахти.

Порешили сходить, не откладывая, и посмотреть.

Магазин, несмотря на воскресенье, был открыт: продавец Никодим Самойлович Шайкин в торговле работал без малого три десятка лет и знал, что, коли хочешь иметь выручку, то в дни после получек на выходной не закрывайся.

Выбор радиол у Никодима Шайкина был неплох: рижские, ленинградские. А вот с пластинками его подвели. Заказал пятьсот штук, заказ получил сполна, но все пластинки с одной песней «Однозвучно гремит колокольчик».

— Вот, садовая голова!— изумился Маслов.

— Одна, зато какая!— всплеснул руками Шайкин.— Заслушаешься!— и в подтверждение своих слов опустил иглу проигрывателя на пластинку.

Маслов с Ильей приглядели «Рекорд» и договорились, что завтра скинутся и купят.

По случаю торжества Венька самолично вычистил и дважды выгладил свой единственный костюм. Хотел галстук пристегнуть, но раздумал: шее неудобно.

Мария простояла перед зеркалом почти час, что-то накручивая у себя на голове. Венька несколько раз хмыкнул — научатся же где-то ерунде, но жене этого не сказал.

Наконец с прической покончено, и Мария сдувает с плеча мужа одной сй заметные пылинки, а потом щеткой трет лоснящиеся на свету складки на его рукавах.

— Ты уж держись,— наставляет она Веньку.— Не пей там...

— Ладно...

— Споначалу чуток пригуби — для веселья, и хватит...

— Ладно, сказал тебе!..

— Я уже купила... Вечером вернешься — тогда сколько пожелаешь...

— Да хватит же!!!— взрывается Венька.

Но в это время в дверях появляются Ветровы, и они вместе с подарком в руках направляются к Митрофановым.

Гости уже почти все в сборе, и большинство — свои, колдомские. Во главе стола молодые — нарядные, счастливые, смущенные. В волосах — зерна овса и ржи, которыми их щедро осыпали в сенях на счастье.

Будто все только и ждали Венькиной гармонии, чтобы поначалу чинное свадебное застолье развернулось по-удалому: во все времена помните, молодые, первый день совместной жизни!

И пели, и плясали, затем вернулись за стол передохнуть. Из приезжих на свадьбе были только родственники Митрофанова — майор с женой и пожилой железнодорожник. Но они быстро перезнакомились со всеми и охотно включились в обсуждение новостей. Особенно внимательно прислушивались к майору, так как он жил в самой Москве и, по общему мнению, должен был разбираться во всем лучше любого из колдомских.

Майор рассказал, как встречали в Москве Гагарина и что это за штуки такие — ракеты. Об этом последнее время очень много писали в газетах, но все равно майора слушали с большим интересом. Незаметно разговор перекинулся на вопросы международной политики, и майор уверенно объяснил, почему рейхстаг оказался в Западном Берлине и какая сейчас сложилась обстановка в Лаосе.

Вопросы чаще других задавал Никандрович. Областная газета недавно написала о нем как о примерном книголюбе, и он не упустил случая щегольнуть своей осведомленностью, а если получится, то и оконфузить немножечко собеседника.

— А что, товарищ майор, про новые деньги говорят?

— Ну, реформа эта, товарищи, сделана для облегчения. Счетным работникам легче, да и для населения расчет более удобен... Никому никаких материальных выгод или убытков она не принесла — сами видите, что масштаб цен остался прежний...

— А как тогда объяснить,— многозначительно поднял вверх палец Никандрович,— доллар американский раньше стоил четыре рубля на наши деньги, это по-новому сорок копеек, так?

— Правильно.

— А теперь пишут, что стоит девяносто копеек. Стало быть, раньше на десять долларів (он делал ударение на а — так казалось внушительнее) мог я, к примеру, купить три килограмма сахара, а теперь вдвое больше. Как вот тут понимать?

Как тут понимать, майор не знал, и торжествующий Никандрович задумался над следующим вопросом. Откашлялся, многозначительно оглядел мужиков.

— Тут я слышал,— начал он,— что летчика, который самолет американский на Севере сшиб, поначалу было на гауптвахту посадили, а потом выпустили и орден дали...

Майор нахмурился и сказал, что все это вражеская пропаганда, рассчитанная на несознательных людей. Слова «пропаганда», да еще «вражеская» сконфузили старика; больше он каверзных вопросов решил не задавать. Получилась небольшая заминка. Венька снова взялся за гармонь, заиграл веселую:

Вдоль по улице метелица метет,
Митрофанов за метелицей идет...

Майору Венькина игра понравилась, и он похвалил Маслова.

Венька подмигнул: «Солдат... Или голова в кустах,

или...» — он выразительно постучал себя в грудь, так что забрякали медали.

Веселье пошло своим чередом. В музыке у Маслова нашлась подмога — молодежь включила магнитофон. Построились в кружок, запрыгали. Маслов решил, что пора подумать о себе. Но как раз в эту минуту встретился взглядом с женой. Мария показала пальцем на стопку и замотала головой — не трогай, мол.

Венька нахмурился. Он с утра говорил себе, что если и выпьет на свадьбе, то самую малость, и настроение с самого начала было таким хорошим, что о вине даже не думалось. Но стоило ему теперь только краем глаза посмотреть на жену, как тут же вспоминались ее предупреждения, появлялся маленький чертенок в розовом трико и начинал подначивать — докажи, мол, что сам самостоятельный и по чужой указке жить не желаешь...

Венька тряс головой, прогонял чертенка, смотрел в сторону, и, как только встречался взглядом с женой, все начиналось сначала. Наконец борьба эта его измотала. Он поставил гармонь и потянулся к стопке — убрать подальше, чтобы хоть она не смущала. Жена заметила его движение и, довольная, что до сих пор он был послушным, решила еще раз одернуть его, покрасоваться перед товарками — смотрите, мол, выучила, слушается. В комнате как раз смолкли, и предупреждение раздалось очень громко. Венька ничего не ответил, только бешено сверкнул глазами, а потом взял и с маху врезал целый стакан. Чертик довольно вильнул хвостом и исчез.

Гости стали разбиваться на стайки, говорить в каждой про свое. Под этот шумок незаметно исчез Илья.

В комнате, до блеска вымытой, застеленной свежими половиками (Илья уж потом сообразил, что это

дело рук сына — хотел порадовать родителей) сидели на диване Николка и Таня.

Девушка смущенно поздоровалась и поспешно собиралась домой. Николка пошел ее проводить, но с крыльца вернулся взять плащ.

— Рано женихаться начал,— уколол Илья сына.

— Это мое дело,— тихо ответил тот.

— Пока на моей шее сидишь, всякое дело мое...

— Хорошо, слезу,— громко выдохнул сын.

— Поглядим, поглядим,— крикнул вдогонку ему Илья, все более раздражаясь.

...А свадьба тем временем продолжалась. Майор о чем-то яростно спорил с Митрофановым, молодежь продолжала плясать, а Никандрович клевал носом. Венька продолжал искать Илью — хотел выговсриться, поплакаться на судьбу. Выходя из комнаты, Маслов по пути задел за стол, что-то со звоном разбилось.

Мария, обиженная, что так специально он сконфузил ее перед людьми, а теперь вот щеперится, портит компанию, в сердцах бросила:

— Везде с тобой срамота одна... Уберегла тебя война на мою голову...

Веньку затрясло, и, коротко взыв, пошел он в лютой злобе домой.

У калитки Мария догнала его, тронула за рукав. Он отмахнулся коротким тычком, выругался.

Навстречу метнулась дочь — тоненькая, в белом свитере:

— Папа, что с тобой, пап?

Венька повел шеей, словно хотел освободиться от душащего воротника, округлил сатанеющие глаза, и злоба, заполнившая его, больше не могла удерживаться. Захотелось грязи, и он собрал все, что мог:

— Пап,— передразнил он.— Ты ее спроси, кто твой

пап... Молчит небось, что брюхатой взял, хотел чужой грех покрыть...

Девушка побледнела и несколько мгновений простояла без движений, плечи под свитером дрогнули, и, закрыв лицо руками, она бросилась со двора. Навстречу ринулся Николка. Не владея собой, он подскочил к Веньке, хотел что-то сказать, но губы дрожали и не могли ничего сказать, только прерывисто мычали что-то, и тогда он с силой, злобно ударил Веньку в лицо, еще и еще и, задыхаясь какой-то давящей на сердце болью, бросился к лесу — вслед за Таней.

Маслов лежал, вдавившись лицом в землю, и росистая прохлада освежала его. Злоба, породив другую злобу, стихла и умерла.

Через некоторое время он поднялся и побрел — сам не зная куда. Ноги привели его к ветровскому дому.

Илья, сидя у телевизора, повернулся на стук, и узнав Маслова, бросил короткое:

— Садись...

Венька присел на стул, помолчал немного, вздохнул:

— Не знаю, Илья, что и делать. Тащит куда-то по течению. А понесло, так не надо и весло. Эх! Ты хоть на меня не сердись, на дурака. Всю жизнь мучаюсь... Кому семь, а мне вечно восемь. Где-нибудь да перехлестну...

Илье стало жаль друга. Он поднялся, включил свет, и подойдя к Веньке, ужаснулся:

— Что с тобой? Все лицо в крови...

Венька устало отбросил со лба волосы:

— Пустяки... Николка врезал — за дело. Завтра все утрясется.

Илья оторопел.

— Как Николка?

— Все верно... По уму, так мне и мало. Марью вот с

Танькой обидел — это, брат, не выправишь сразу. Можно, я у тебя заночую — домой мне сегодня дороги нет...

— Какой разговор? Сейчас постелю на веранде...

Незаметно подкралась ночь — белая, умиротворенная. Люди засыпали, и, поддаваясь сну, мельчало зло, утихало горе.

На мощеной перронной площадке стояли двое — мальчик и девочка.

— Ты потерпи немного, всего два дня, я узнаю и приеду за тобой, — говорит мальчик. — Училищ много, общежитие дают и кормят. Вместе поступим — и никто тебя больше не обидит и не попрекнет. Я бы сейчас тебя взял, да ведь денег нет, ночевать негде будет устроиться...

— А ты? — пугается девочка.

— Я ничего, я бывалый. Сначала до утра на вокзале пересажу, а потом схожу и все узнаю. Послезавтра утром вернусь. Ты только дождись, не расстраивайся, а потом мы никогда-никогда разлучаться не будем...

— Хорошо, — прошептала девушка.

— И домой не ходи, у тетки пока побудь...

— Нет, — вздрагивает она, — домой я не пойду, — и слезы соскальзывают на свитер.

Вдали появился паровоз — светлым, увеличивающимся огоньком. Мальчик обнял плечи подруги:

— Ты, пожалуйста, потерпи немножечко... Я тебя никогда-никогда не оставлю...

Она опустила ресницы. С шумом притормозив, остановился состав и тут же, заскрипев, медленно покатился дальше. Мальчик вскочил на подножку уже на ходу и исчез в освещенном тамбуре, а девочка медленно побрела по тропинке вдоль насыпи.

Утром Веньку разбудил петушиный крик. Солнце еще не полностью выкатилось из-за горизонта. Прохладно. И четко возникает в памяти вчерашний вечер. Забыть бы, не помнить, заспать всю гадость,— Венька закрывается руками, мучается. Ведь столько лет молчал, даже намека не давал — и на тебе, укорил — дочь укорил. Жили спокойно, не знал никто ничего — треснула жизнь.

Забыться бы, открутить, как ленту в кино, вчерашний вечер назад или совсем вырезать, будто и не было ничего. Так ведь нет, уже не поправишь: было.

За стенкой, в горнице у Ветровых, слышится какой-то шум, и Венька закрывает глаза: стыдно.

Кто-то барабанит в дверь — неистово, громко, и слышится голос сменщика Митрофанова — Петра:

— Беда, Илья, из области звонили — с Колькой твоим беда...

Зашлось сердце. Враз на ноги — и в сени.

— Позвонили, сказали, что привезли час назад... Ехал на поезде, без билета. Видно, побежал от контролеров и выскочил на ходу...

Задыхается Петр, лбом на стену упал, дышит.

— Жив? Жив, да? — трясет Илья Петра.

— Не, не... — качает головой, и все меркнет в глазах, останавливается. — Не... знаю...

Не сговариваясь, бросились вместе с Ильей к гаражу. Венька замок сбил, оба в директорский «газик» и по засохшему, изрезанному гусеницами проселку что есть мочи — к шоссе. Илья грудью на руле, всем телом баранку поворачивает — не застрять бы и что-то про себя повторяет. Венька слова слышит, но смысл до него не доходит. Ясно ему только, что главный виновник здесь — он. И Венька лихорадочно шепчет вслух:

— Господи... Спаси его, господи...

Отродясь ни в какого бога не верил, а теперь верит неистово, на чудо надеется.

— Только бы живой, только бы живой,— и слезы плоскими бороздками на щеках.

Остановился Илья прямо перед больничным крыльцом, смяв газон и враз нажав на все тормоза. Выскочил, забарабанил в окошечко, призывая хоть кого-нибудь.

Открыла санитарка, заспанная, злая, хотела заругаться, но, увидев искаженное, сумасшедшее лицо, оробела, осеклась...

— Ветров, Коля Ветров — жив? — выдохнул Илья.

— Мальчик? — переспросила она. — Бок у него очень поранен, а так вроде не опасно... Врач его дежурный смотрит. Спросить пойти?

Илья жадно закивал головой — говорить он не мог, а Венька медленно сполз с сиденья — ослаб, подкосились ноги и, уже не сдерживаясь, заплакал. Едкими струйками бежали слезы — слезы облегчения и вины, и, еще не веря, непрерывно повторял про себя: «Жив... жив...» — единственное свое оправдание. А рядом жадно сосал потухшую сигарету Илья.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Последнее свидание	4
Рикошет	29
У рябин, вдоль проселка	43
Премия	48
Корениха	55

Повесть

Хлеб детей твоих	76
----------------------------	----

Шириков Владимир Леонидович ХЛЕБ ДЕТЕЙ ТВОИХ

Редактор *В. К. Лиханова*

Обложка *Л. Щетнева*

Титул, шмуцтитулы *В. Едемского*

Художественный редактор *В. С. Вежливцев*

Технический редактор *Н. Б. Буйновская*

Корректор *Н. К. Галкина*

Сдано в набор 12. VIII. 1977 г. Подписано в печать 31. X. 1977 г. ГЕ04512
Форм. бум. 70×108¹/₃₂ (бумага тип. № 3). Физ. печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 7,7
Уч.-изд. л. 7,463. Тир. 15000. Зак. 5515. Цена 45 коп., в переплете № 5—60 коп

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, Вологда, Урицкого, 2
Областная типография, г. Вологда, Челюскинцев, 3.